

Лидия Шатуновская

ЖИЗНЬ В КРЕМЛЕ

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK

1982

Лидия Шатуновская

ЖИЗНЬ В КРЕМЛЕ

*ПАМЯТИ ДЖОРДЖА МИНИ,
руководителя американских
тред-юнионов, одного из не-
многих людей на Западе, кто
понял, что такое коммунизм
и оценил опасность нависшей
над свободным миром угрозы*

CHALIDZE PUBLICATIONS

NEW YORK

1982

Lidia Shatunovskaia

LIFE IN THE KREMLIN

Copyright 1982 by Chalidze Publications

Published by Chalidze Publications

505 Eighth Avenue

New York, N.Y. 10018

Manufactured in the U.S.A.

СОДЕРЖАНИЕ

Среди старых большевиков	5
Москва послереволюционная	5
Кремль и его новые обитатели	20
Рыба гниет с головы	39
Сталин и "старая гвардия"	47
Новые правители	63
"Дом Правительства"	63
Годы Великого голода	80
Час расплаты	92
Сталинское племя	117
Страна доносчиков и шпионов	155
Тайные убийства Иосифа Сталина	169
Убийство Сергея Кирова	170
Диагноз, который стоил жизни врачу	180
Тайна смерти Надежды Аллилуевой	184
Расправа с семьей Аллилуевых	210
Убийство П.А. Красикова	221
Кто ускорил смерть Ленина?	227
Как фабриковались шпионские центры	238
Дело Михоэлса-Аллилуевых	238
Уроки советского антисемитизма	325
Финал: приговор	343

СРЕДИ "СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ"

Москва послереволюционная

Весной 1922 года я, тогда 18-летняя девушка, полная энтузиазма, с отрочества ослепленная огнями театральной рампы и лозунгами Революции и Социализма, окончила гимназию в моем родном городе, Одессе, и, оставив отчий дом, одна, без денег и почти без знакомств, устремилась в Москву, мечтая войти в волшебный мир новой жизни и нового театра.

Отрочество мое и юность протекали в очень трудных, почти непереносимых условиях, созданных Октябрьской революцией и гражданской войной. В Одессе эти условия были особенно тяжелы. Не успела установиться в этом городе Советская власть, как ее сменила власть украинских националистов (Украинской Рады), за ними последовали красные, а затем австро-германские интервенты и "самостийное" правительство гетмана Скоропадского, и снова красные, и снова белые, и снова интервенты — на этот раз французские, — и опять красные, и опять белые... Власть в городе сменялась за эти годы не то 11, не то 13 раз — трудно было сосчитать, так эфемерны были некоторые из этих властей. И каждая новая власть несла с собой разруху, голод, бессудные расправы, преследования, грабежи и убийства. Нелегко было выжить в Одессе в те годы.

В нашей семье условия жизни были особо трудными. Мои родители — отец и мать — были учителями и всю свою жизнь работали в Одесской общественной еврейской школе. Обучение в этой школе, построенной и содержавшейся на средства еврейской общины и пожертвования группы богатых промышленников и негоциантов, было бесплатным, и контингент ее учеников составляли дети еврейской бедноты, которым эта школа давала общее образование, готовя в то же время к практической деятельности в коммерческих предприятиях. Тогда это был единственно возможный вид деятельности для детей из бедных еврейских семей, если не считать ремесла. Высшее образование и приобщение к свободным профессиям были доступны лишь детям из семей более или менее обеспеченных.

Мои родители были людьми высокой идейности и честности. Для них работа в школе была не просто профессией, дающей средства к жизни, а выполнением их долга перед своим народом, и они отдавались этой работе всей душой. Мы жили в маленькой квартирке при школе, и все мое детство и молодость протекли в специфической школьной атмосфере. С первых дней моей жизни распорядок моего дня определялся школьными звонками. Интересы школьной жизни и забота об учениках поглощали моего отца полностью, к практической деятельности он был совершенно не приспособлен, и умение добывать деньги было ему незнакомо. Поэтому все годы гражданской войны мы прожили в крайней нужде, почти на грани голодной

смерти. Быть может, именно эта скудость и убожество жизненных условий в годы, когда я формировалась, и обусловили мою раннюю тягу к миру искусства, особенно к яркому миру театра.

Решающее значение, однако, имели для меня встречи и сближение с несколькими крупными деятелями искусства, которые бежали с севера от большевиков и нашли себе временное пристанище в Одессе. Среди них была художница Александра Экстер, раньше работавшая несколько лет в Париже, выдающаяся музыкантша Чернецкая-Гешелина, у которой я училась музыке, режиссеры Глаголин и Адашев, создавшие в Одессе эфемерные театры-студии. Мы, подростки, были увлечены новым, "революционным" искусством. Нашими любимыми поэтами были Гумилев, Есенин, Маяковский, Блок (которого мы тогда, конечно, по настоящему не понимали). В театре нашим кумиром был Всеволод Мейерхольд, в котором для нас воплотилось сочетание революционного искусства с служением туманным идеям социальной революции, которыми мы были полны выше головы.

По приезду в Москву я сразу же попала в число студентов созданного после Революции Государственного Института Театрального искусства (сокращенно: ГИТИС) и была зачислена на режиссерский факультет этого Института. Одновременно я начала заниматься в экспериментальной студии-мастерской, организованной Мейерхольдом при его театре. Эта студия сначала носила почти произносимое наименование "ТВЫРМ", что надлежало расшифровывать как

"Государственная Высшая Режиссерская Мастерская". Позже ее переименовали в "ГВЫТМ", что означает: "Государственная Высшая Театральная Мастерская". Тогда такие аббревиатуры были в большом ходу. Например, вновь созданное художественное училище, противопоставлявшее себя старой, "академической", школе живописи, называлось "ВХУТЕМАСС". Как это название расшифровывалось, я теперь и не припомню.

Я погрузилась в бурно кипевшую в то время студенческую жизнь. Занятия в Институте и мастерской Мейерхольда, театры, лекции, выступления поэтов, дискуссии в большой аудитории Политехнического музея,— все это почти не оставляло времени задумываться над общими проблемами культуры и политики. В целом все мы были, конечно, "за" Революцию и "за" Советскую власть и Коммунистическую партию, которые, казалось нам, приближают воплощение заветной мечты человечества о справедливости и счастье для народа. Но в реальной действительности мы разбирались слабо, того, что представляет собой на деле эта власть и куда она нас ведет, мы не видели.

"Общественная работа" была для студентов, конечно, обязательна, и я исправно работала в качестве "пропагандиста" при районном комитете комсомола, разъясняя молодым рабочим смысл и значение очередных партийных решений и политических событий, в которых я сама разбиралась тогда не очень ясно.

Внешний облик Москвы в те годы еще почти не отличался от дореволюционного. Не тронуты

еще были "сорок сороков" Московских церквей, в проходе к Красной площади еще стояла часовня Иверской Божьей Матери, всегда переполненная молящимися, а у начала Пречистенки еще высился массивный Храм Христа Спасителя, позже снесенный по самодурной прихоти Сталина.

В самом центре города, там, где сейчас находятся гостиница "Москва" и здание Совета Министров, еще стояли двухэтажные магазины и лабазы Охотного ряда с их лукулловым изобилием всяких яств и деликатесов, а напротив, у начала Тверской улицы (ныне улицы Горького) стояла церковь Параскевы Пятницы и рядом — знаменитый купеческий трактир.

Еще сохранилось нетронутым непередаваемое обаяние старых московских улочек и переулков — арбатских, пречистенских, замоскворецких — с их бесчисленными особняками, домишками, обширными дворами. На центральных улицах было довольно много многоэтажных домов, построенных в начале века, перед Первой Мировой Войной. Квартиры в этих домах, предназначенные для зажиточных людей, были обширны и комфортабельны, но газ имелся лишь в очень немногих из них, да и центральное отопление было редкостью. Подавляющее большинство квартир еще отапливались дровами, а уж о такой роскоши, как централизованная подача горячей воды или мусоропровод, никто и слыхом не слыхивал. Мылись в банях, а кто хотел помыться дома и мог себе это позволить, топил дровами колонку в ванной комнате, если

таковая, конечно, имелась и не была превращена в жилую комнату. Такая участь, впрочем, постигла большинство московских ваннных комнат. При этом иногда ванну попросту выбрасывали, а иногда перекрывали досками, клали на них матрас и превращали ванну в кровать.

Улицы были вымощены булыжником, и по ним грохотали извозчичьи пролетки -- единственный вид индивидуального транспорта. Автомобилей было очень мало, и на них разъезжали только комиссары. Лишь значительно позже появилась на улицах первая партия такси -- маленьких, черных, остроносых "Рено", и я помню, какой сенсацией это было, как все спрашивали друг друга, "Удалось ли Вам уже покататься в таксомоторе?". Впрочем, еще до этого в годы НЭП'а появилось несколько частных прокатных автомобилей с отличительной ярко желтой полосой по борту и глухими занавесками на окнах. Использовались они преимущественно бездомными обитателями для любовных свиданий, и москвичи называли их "борделями на колесах". Еще не было ни автобусов, ни троллейбусов, ни, конечно, метро, и весь общественный транспорт осуществлялся только устаревшим, предельно изношенным и всегда переполненным трамваем.

Снег с мостовых не убирался, а с тротуаров его только сметали к обочине, и он нагромождался там огромными сугробами. К весне слежавшийся снег желтел и покрывался глубокими поперечными рытвинами, а когда начиналось таяние снегов, улицы становились трудно

проходимыми. Вдоль них текли ручьи и стояли глубокие канавы, в которых часто воды было по колено неосторожно вступившему в них пешеходу.

Своеобразна и неповторима была атмосфера культурной жизни в Москве в те годы. Когда Октябрьская Революция и вызванная ею гражданская война довели страну до полной разрухи и голода, поставили ее на грань гибели, у Ленина — в отличие от Троцкого и многих других "левых" — хватило ума понять, что спасти страну от катастрофы может только отступление от чистоты коммунистических догм и возвращение, хотя бы частичное, к экономике, основанной на частной собственности и принципе свободной рыночной конкуренции. Была принята и введена так называемая Новая экономическая политика. Результаты этой, хоть зачаточной, слабой и непоследовательной, но все же либерализации экономики оказались необычайно благотворны.

Не нужно, конечно, идеализировать НЭП и думать, что он сразу принес стране полное благоденствие, что в России потекли "молочные реки в кисельных берегах". Нет, уровень жизни народа, который принес ему НЭП, мог казаться благоденствием лишь по сравнению с тем, что было прежде, при военном коммунизме. Но в стране все еще свирепствовала безработица, по улицам и дорогам бродили толпы бездомных детей и подростков, потерявших семьи в годы войны и революции. Крестьянство только-только начинало становиться на ноги и жило еще очень

трудно. Уровень жизни рабочих, служащих, интеллигенции был еще очень низок, хотя его и сравнить нельзя было с тем, как народ жил до НЭП'а. А вместе с тем частники, "нэпманы", как их называли в то время, как и следовало ожидать, бешено и быстро богатели. Для них открывались магазины, заваленные прекрасными товарами. Для них открывались дорогие рестораны и даже карточные казино. Их поджидали у дверей ресторанов и прочих элитных мест сани, запряженные рысакami и крытые медвежьей полстью, и их окликали извозчики: "Ваше сиятельство! Прокачу на резвой!".

Мы, молодежь, воспринимали эти социальные контрасты, этот разрыв между уровнем жизни народных масс и кучки "нэпманов", очень остро. Понять, какую объективно благоприятную роль сыграл процесс хотя бы частичного восстановления свободной экономики, оценить огромный потенциал, заложенный в системе, основанной на частной инициативе и свободной конкуренции,— мы были не в состоянии, а весь облик "нэпмана", человека чаще всего мало культурного и обуреваемого лишь жадой быстрой наживы, был нам противен.

По мере того, как "новая буржуазия" укрепляла свои экономические позиции и выделялась в обособленную социальную группу, она создавала и свою отдельную суб-культуру весьма низкого качества. Книжные магазины были завалены множеством низкопробного чтива, преимущественно переводного, но отчасти и отечественного производства. Наряду с высоким

театром, продолжавшим старые традиции, и новым театром, искавшим новых форм и нового содержания, процветали и театры, рассчитанные на мещанские вкусы скоробогачей, всякие хоры в ресторанах, куплетисты и т.п. Нам эта суб-культура нэпманов была глубоко отвратительна.

Материальный уровень нашей тогдашней студенческой жизни был очень низок. Стипендии, которую мы получали, едва хватало на то, чтобы самым скромным образом -- на грани недоедания -- прокормиться. Ходили мы все оборванными и полубосыми, и большинство из нас -- те, кто не мог получать помощи от родителей, -- вынуждены были наряду с учебой искать себе какую-нибудь подсобную работу. Помню, что и я несколько месяцев прослужила в каком-то частном магазине, разнося по домам покупки и проделывая ежедневно по многу километров пешком по сырым и холодным московским улицам в прохудившейся и не подходящей к сезону обуви.

Но в молодости такие лишения вообще переживаются легко, а мы были к тому же полны энтузиазма. Хмель революционных лозунгов еще не выветрился и кружил нам головы. Мы еще искренне верили в коммунизм, который, якобы, несет всему миру справедливость и счастье. Нам еще казалось, что на горизонте восходит заря какой-то совсем новой жизни, и нам нетрудно было переносить временные невзгоды и трудности нашей сегодняшней жизни.

На этот общий фон юношеской, еще неизжитой веры в социалистические идеалы накладывалось то, что в это время Россия — и в первую очередь, конечно, Москва и Ленинград — переживали короткий, но блестящий период "Ренессанса", возрождения старой и рождения новой русской культуры.

С либерализацией экономики НЭП принес и некоторую, весьма, впрочем, ограниченную, либерализацию внутренней политики. Правда, эта либерализация была совершенно ничтожной, чтоб не сказать несуществующей, в тех областях, которые непосредственно касались идеологии, политики, социальной структуры советского государства. Никакая свобода дискуссии по фундаментальным вопросам идеологии, общественного мировоззрения и тем паче по вопросам конкретной политики, конечно, не допускалась. Малейшие отклонения от "генеральной линии" партии подавлялись и искоренялись с прежней фанатической нетерпимостью. Но при всем том подчинение всей духовной жизни страны "руководящим указаниям" партии и ее отдельных сатрапов еще не приняло таких омерзительных и варварских форм, как позже, в сталинские и пост-сталинские времена. Еще не была осуществлена руками Горького унификация всей литературы, еще не была проведена стрижка всей науки, литературы, искусства под гребенку насильственно навязываемой "единственно правильной" марксистско-ленинской идеологии. Бредовая Горьковская идея "социалистического реализма", как единого и обязательного

метода и содержания всей литературы и всего искусства вообще, еще не была оформлена и не получила силы закона. Еще можно было кое-как дышать.

Политика кнута и пряника -- сочетания жесточайшего террора в отношении всех инакомыслящих с щедрыми подачками и систематическим подкупом всех тех деятелей культуры, кто был готов продать свою душу за тридцать серебряников -- еще не привела в ту пору к той полной деморализации и проституированию всей верхушки советской интеллигенции, которые характеризуют эту среду в последующие десятилетия. В литературе и искусстве еще сохранилось некоторое количество честных и талантливых людей, говорящих и пишущих не по указке очередного партийного босса.

Улучшение материального положения страны и некоторое смягчение идеологической диктатуры обусловили короткий, но великолепный расцвет литературы, искусства, театра в эти годы. В литературе в это время работала группа молодых, очень талантливых и очень разных писателей, получившая общее, весьма расплывчатое и мало содержательное название группы "попутчиков" (Бабель, Олеша, Тынянов, Булгаков, Багрицкий, Платонов, Зощенко, Мандельштам, Пастернак и много других). Их объединяло, пожалуй, лишь то, что, не становясь слепым орудием советской пропаганды, сохраняя в своем творчестве известную степень свободы, они в целом были близки к тем идеалам и целям, которые официально прокламиро-

вал коммунизм. Правильнее было бы сказать, что они шли не "по одному пути" с партией, но к тем целям, которые она прокламировала. Поэтому их до поры до времени терпели и даже поощряли. Но вместе с тем каждый из них старался по своему понять и осмыслить события последних лет и вызванные ими сдвиги в психологии и душевной жизни советских людей.

В театре в это время еще догорали закатными огнями старые центры русского театрального искусства: Художественный и Малый театр в Москве, Александринский театр в Ленинграде. Они сохраняли традицию великолепного актерского и режиссерского мастерства и передавали ее многочисленным новым театрам, студиям и мастерским, возникшим в те годы.

В МХАТ'е Втором, возникшем из одной из студий Художественного театра и наиболее близком к традициям и заветам Станиславского, вспыхнуло и без времени угасло творчество Михаила Чехова, вскоре высланного из России и творчески угасшего в отрыве от родины. В расцвете творчества был театр, созданный Евгением Вахтанговым. Хотя этот выдающийся мастер умер молодым от туберкулеза, он успел воспитать большую группу талантливых актеров и режиссеров, продолжавших его традиции в театре, носящем его имя. Традицию высокой театральной культуры продолжал и Камерный театр, созданный и руководимый А.Я. Таировым. Здесь работала последняя

большая трагическая русская актриса Алиса Коонен. Ее "Федру" и "Адриенну Лекуврер" я не могу забыть до сих пор. Заметное место в театральной жизни Москвы занимал и Еврейский театр, созданный Соломоном Михоэлсом.

Наряду с этими театрами, продолжавшими традиции классического русского театра и пытавшимися наполнить их новым содержанием, возникали и распадались бесчисленные бунтарские театры, студии, мастерские, ищущие новых форм и путей театрального действия. Все они — от "Пролеткульта", руководимого Сергеем Эйзенштейном, до совершенно эксцентричного "театра клоунады" Фореттера, разместившегося на Арбате в студии какого-то фотографа — пользовались полной свободой и даже поощрялись как носители революционного начала в театральном искусстве.

Но, несомненно, главную роль в становлении нового театра играл Всеволод Эмильевич Мейерхольд и созданный им театр, ставший центром притяжения и источником вдохновения для всей театральной молодежи Москвы. Человек, впитавший в себя всю изощренность старой русской культуры, в частности культуры театральной, Мейерхольд был натурой бунтарской, стремящейся к разрыву с традициями и к поискам новых форм и нового содержания искусства. Революция была созвучна этой бунтарской стороне его личности. Его стремление к новаторству, к предельной театральной яркости и экспрессионизму нашло свое выражение в

романтической идеализации Революции. Его опьяняли бунт, восстание, красные знамена, ломка всех старых традиций, и он не задумывался, как и все мы, впрочем, над тем, какая страшная реальность лежит за этой романтикой.

Мастером Мейерхольд был необычайным. Его умение находить совершенно неожиданные и гениальные решения сценических ситуаций, его умение строить потрясающие миз-ан-сцены и создавать спектакли огромной впечатляющей силы были неповторимы.

Влияние Мейерхольда на всю театральную жизнь Москвы того времени было исключительным. Все мы -- студенты театральных училищ, молодые актеры и режиссеры -- видели в нем своего учителя и вдохновителя. Мы жили театром Мейерхольда и его "мастерскими", и такие его спектакли, как "Великодушный Игогоносец", "Земля дыбом!", "Рычи, Китай!" и позже "Горе от ума" Грибоедова до сих пор стоят перед моими глазами.

Понятно, что такая яркая, такая выдающаяся личность, как Мейерхольд, не могла быть терпима все нивелирующим, все себе подчиняющим советским режимом. Через несколько лет театр Мейерхольда был закрыт, а вскоре Мейерхольд был арестован и советской властью убит. Но в те годы, конечно, никто из нас не мог и подумать о том, что нашего учителя и такого большого мастера ждет столь трагическая участь.

Такова была общая атмосфера той культурной жизни, в которую я погрузилась с головой по приезду в Москву. Трудно мне сейчас найти

слова, чтобы передать то ощущение какой-то поспегрозовой свежести, подъема, энтузиазма, веры в идеальное будущее, увлечения всеми богатствами человеческой культуры, которым мы все жили в те годы в нашем ГИТИС'е и театре Мейерхольда.

Кремль и его обитатели

В начале двадцатых годов, когда я приехала в Москву, жилищный кризис там еще не был столь острым, каким он стал позже. За годы революции население столицы заметно поубавилось, и в городе еще было довольно много квартир, оставленных их бежавшими или погибшими жильцами. Квартиры эти быстро заселялись новыми жильцами, большие комнаты перегораживались тонкими фанерными стенками на маленькие комнатухи и клетушки, складывался совершенно особый быт советской коммунальной квартиры с ее общими кухнями и удобствами, с ее бесчисленными ссорами, сплетнями и дразгами, с полным отсутствием того, что на Западе называют "privacy".

В одной из таких коммунальных квартир, находившейся в центре города, на Кузнецком мосту, получила комнатушку вскоре после приезда и я. Однако пользоваться этой официально закрепленной за мной комнатой мне почти не пришлось. В числе студентов ГИТИС'а значилась и Наталия Федоровна Красикова, жена старейшего члена коммунистической партии и одного из ее создателей Петра Ананьевича Красикова. Она и сама была членом партии с дореволюционным стажем и естественно возглавила в ГИТИС'е

партийное руководство. По отношению к нам, молодым, она играла роль старшего товарища, воспитателя и партийного ментора. Пользовалась она в ГИТИС'е всеобщим уважением.

Не знаю почему, но Красикова как-то по-матерински полюбила меня. Своих детей у нее не было, а из двоих сыновей ее мужа от первого брака один погиб в гражданскую войну, а другой жил отдельно, со своей семьей. Жилось Красиковым одиноко и, быть может, поэтому они и привязались всей душой к молодой, беззащитной и пылавшей энтузиазмом девушке, какой я была тогда. Нет нужды говорить о том, что я платила им не только горячей любовью, но и глубочайшим уважением. Петр Красилов был легендарным "старым большевиком", другом и сподвижником Ленина. Этого одного было тогда достаточно, чтобы в моих глазах он стал воплощением всей мудрости, героизма, самоотверженности.

Я стала для Красиковых как бы их приемной дочерью и прожила с ними в их Кремлевской квартире много лет, до того времени, когда в 1931 г. я переехала с мужем во вновь построенный огромный "Дом Правительства". Да и после этого я бывала у них почти ежедневно, сначала в Кремле, а потом в их новой квартире в том же Доме, куда Сталин переселил их в 1938-м году.

Хотя в официальных "Историях КПСС" об этом, кажется, не упоминается, но, как рассказывали мне Красиковы и другие старые большевики, фактически российская

социал-демократическая партия была создана так называемой "Уфимской шестеркой", в которую входили: Ленин, Крупская (его жена), Кржыжановский, Ванеев, Радченко и Красиков. Все они позже составили ядро большевистской фракции этой партии, которая позже получила свое теперешнее наименование партии коммунистической. Когда партия оформлялась, пятерым из этой группы, включая Ленина, с учетом их прежнего участия в "Союзе борьбы за освобождение рабочего класса", был установлен стаж с 1893-го года, партийный же стаж Красикова был исчислен с 1892-го года. Он был таким образом обладателем самого старого по стажу партийного билета, а это в советской иерархии значило не мало.

Сибиряк, родом из Красноярска, Красиков был человеком крупного телосложения и высокого роста. Во всем его облике и манерах было что-то импонирующее и барственное. Настолько импонирующее, что однажды, до революции, он сумел внушить доверие австрийским властям и взять на поруки Карла Либкнехта, арестованного в Вене. В том, как он одевался и как сидели на нем вещи, в его изысканной манере есть, в его безупречной вежливости по отношению ко всем окружающим было много от русского барина, что отличало его от гораздо более плебейской, разночинной среды старых большевиков. Да и по своему культурному уровню он был много выше большинства их. Он успел до революции окончить юридический факультет Университета и в те

короткие периоды, когда он жил в Петербурге на легальном положении, он выступал в судах по делам рабочих. Был он широко и хорошо образован, собрал прекрасную библиотеку, любил музыку и сам хорошо играл на скрипке.

В революционное движение он ушел смолоду и отдал ему безраздельно всю свою жизнь. Он арестовывался царским правительством неоднократно. Посетив в 1972-м году Петропавловскую крепость, превращенную теперь в музей, я с волнением обнаружила на двери одной из тюремных камер его портрет и табличку, извещавшую экскурсантов о том, что в этой камере содержался старый революционер, соратник Ленина П.А. Красиков.

Значительную часть своей жизни Красиков прожил за границей, в эмиграции, где он был одним из ближайших сотрудников Ленина. Ему Ленин поручил руководство Парижской эмигрантской группой большевиков, ему он доверял самые ответственные и опасные поручения. Связывала их и личная дружба. Ленин очень любил слушать игру Красикова на скрипке.

По поручению Ленина Красиков не раз переходил нелегально границу, поддерживал связь между эмиграцией и русскими партийными организациями. Эти переходы организовывал военный врач Федор Гусаров, служивший в Варшаве. Его легальная квартира там была по существу "перевалочным пунктом" для нелегальных связей большевиков-эмигрантов с русскими организациями партии. С родной сестрой Гусарова, Александрой Васильевной Савельевой,

я прожила много лет в одной квартире и была с ней очень дружна. К ней мне еще придется вернуться в моем рассказе.

После Октябрьской революции Красиков был назначен сначала членом коллегии Народного Комиссариата (Министерства) Юстиции, а потом Прокурором Республики. Когда советское правительство переехало из Петербурга в Москву, Красикову по прямому распоряжению Ленина была предоставлена квартира в Кремле. Квартира эта находилась в так называемом Кавалергардском корпусе, где прежде размещались генералы и старшие офицеры царской свиты. Этот старый трехэтажный корпус находится вблизи Троицких ворот. Он стоит на улице, которая тянется вдоль Александровского сада к Большому Дворцу, где сейчас собирается на свои церемониальные заседания Верховный Совет СССР.

Этот корпус имел в то время два подъезда. Они соединялись на каждом этаже длинными коридорами, по обе стороны которых были отделаны для новой элиты отдельные квартиры, обставленные чудесной старинной мебелью из дворцовых запасов. Позже та часть этого корпуса, в которой мы жили, была снесена, чтобы расчистить место для Дворца Съездов, резко дисгармонирующего со всем обликом Кремля, но тогда Кремль еще не был изуродован такими пристройками.

Не был еще разрушен храм Спаса-на-бору (XIV век с пристройками XVI-го века), не было снесено Красное Крыльцо Грановитой Палаты, еще стояли Чудов и Вознесенский

монастыри. Площади и улицы Кремля были еще вымощены булыжником и не были залиты монотонным асфальтом. Было много вольной, неподстриженной зелени. Кремль еще сохранял свой единственный, неповторимый облик и аромат.

Изменилось только одно. При царях все ворота Кремля были открыты, и народ имел свободный доступ во все его дворцы, музеи, соборы, исторические здания. С момента переезда в Кремль новых властителей Кремлевские ворота замкнулись наглухо. Пройти через них в Кремль можно было только по особым, тщательно проверявшимся пропускам. К осмотру музеев и соборов лишь изредка допускались особо отобранные группы экскурсантов, преимущественно — знатные иностранцы.

Я помню, один из советских ученых, которому посчастливилось присоединиться к экскурсии, организованной для группы иностранных ученых, рассказывал мне, как кто-то из этих иностранцев извлек из кармана старый, еще дореволюционного издания путеводитель "Бедекер" и, заглядывая в него, с успехом исполнял роль гида для всей группы. Заметив, что его советский коллега слушает его с жадным вниманием и, по-видимому, видит сокровища Кремля впервые, он с изумлением спросил его: "Но почему же Вы так редко здесь бываете? Ведь здесь так много интересного: замечательные музеи, великолепная старинная архитектура..." Что можно было ответить ему? Нельзя же было разъяснить наивному иностран-

цу, что советская власть отняла Кремль у народа и что советский гражданин может попасть сюда, разве лишь присоединившись к экскурсии для иностранцев.

Да и сама я, хоть и жила в Кремле и имела Кремлевский пропуск, в музеи и соборы тоже могла попасть, только присоединившись к какой-нибудь экскурсии. Помогала мне в этом моя приятельница, служившая в посольстве США в Москве. Сотрудников посольства время от времени осчастливливали экскурсиями в Кремль, и она иногда брала меня с собой.

Число квартир в Кремле было невелико, и поселялись в них лишь "вожди", люди, занимавшие самые высокие посты в новой иерархии, да еще очень небольшая группка людей, которые, хоть и не занимали столь высоких постов, но имели большие заслуги в прошлом. К числу их принадлежал и Красиков. Остальные — рангом пониже — были расселены в центре города в гостиницах "Метрополь", "Националь", "Лоскутная", "Люкс" (последняя преимущественно для иностранных коммунистов и работников Коминтерна), а также в многочисленных других "Домах Советов".

Наша квартира в Кремле находилась на втором этаже, а рядом с нами в том же коридоре были квартиры членов Политбюро Кагановича и Рудзутака, секретаря Верховного Совета и "хозяина" всего Кремлевского хозяйства Авеля Енукидзе. Над нами, этажом выше, жили Рыков, Молотов, Цурюпа (заместитель председателя Совета Народных Комиссаров), Фотиева

(бывшая управляющая делами Совнаркома, а потом начальник секретариата Ленина). Напротив нас, по другую сторону коридора огромную квартиру занимал Троцкий, а после его высылки туда переехал Калинин.

Таким избранным и высокопоставленным был состав новых кремлежителеев. Однако уже и тогда, в двадцатые годы, неписанная "табелее" о рангах" разделяла эту среду "избранных" на обособленные группы, жившие каждая своей особой жизнью. Принадлежность к той или иной группе полностью определялась тем местом, которое человек занимал в служебной или партийной иерархии.

Весь стиль жизни, весь характер личных взаимоотношений определялись даже и в этой среде служебным или партийным положением человека. Было, например, совершенно невысимо, чтобы Сталин или кто-нибудь из "вождей", членов Политбюро, зашел запросто "на огонек" к Красикову или Цурюпе. И не только потому, что Красиков был человеком совершенно иного психологического типа и склада, чем Сталин и его сподвижники. Независимо от личных симпатий и антипатий, общение Сталина с Красиковым было невозможно, потому что Красиков не занимал уже в то время достаточно высочких постов. Он не мог быть ни особенно полезен, ни очень опасен, а потому Сталин мог лишь "принять" (вернее, не мог не принять) Красикова в рабочем порядке. Общаться же лично, приглашать на свои Кавказские застолья Сталин мог лишь людей, равных ему по рангу,

да еще, пожалуй, тех из новых людей, чьими руками и по чьим трупам он прокладывал себе путь к диктатуре.

Особенно надменно и замкнуто жил в этой среде Троцкий, никем из них не любимый и, как мне кажется, никого из них не уважавший и не любивший. Да и по всему стилю своей жизни, по своему бытовому укладу Троцкий резко отличался от всего нашего окружения, жившего тогда еще довольно скромно. Он быстро, одним из первых, освоил стиль и замашки большого барина. Он не снисходил до обедов в Кремлевской столовой, где обедали "все прочие". Пищу для него и его семьи готовил отдельно какой-то из бывших царских поваров. Семью Троцкого обслуживало несколько домашних работниц, и даже лакеем, кажется, обзавелся этот провозвестник "перманентной революции".

Судя по воспоминаниям Светланы Аллилуевой, такой же барский образ жизни — с нянями, гувернантками, экономками, прислугой — освоил уже в ту пору и Сталин. Остальные кремлежителы, не говоря уже об обитателях "Домов Советов", жили тогда скромнее.

Конечно, в двадцатые годы и в той Кремлевской среде, в которой я жила, дело еще не дошло до "тыканья" и откровенного хамства, но и в этой среде весь характер личных отношений во все большей степени определялся служебным положением человека, его местом в новой иерархии. Сказывалось это и на языке, на котором говорили друг с другом эти люди.

Вот маленький, но характерный пример. Мой первый муж, Яков Шатуновский, также был старым членом партии с дореволюционным стажем, но он не принадлежал к самому высокому слою партийных "вождей", а относился скорее к "третьему эшелону", к тому слою, на плечи которого легла тяжесть организации новой государственности и экономики, но который был отстранен от участия в выработке фундаментальных политических решений и не имел влияния в борьбе за власть.

Еще до революции, живя в Одессе на нелегальном положении, он скрывался от полиции и работал в типографии богатого одесского предпринимателя Моисея Шпенцера — родного дяди Троцкого (Льва Бронштейна)*. В этой же типографии скрывался и молодой Троцкий, который с ведома и благословения своего либерального дяди руководил там подпольным марксистским кружком типографских рабочих. Жили оба молодых революционера в подвале при типографии и часто спали на одной койке.

Связь между ними сохранилась и после революции. Когда Троцкий стал Верховным

* "Ультрасоветская" поэтесса и писательница Вера Инбер была дочерью этого Шпенцера и кузиной Троцкого. По вполне понятным причинам она предпочитала не распространяться об этих деталях своей биографии, да и писавшие о ней старались обойти молчанием эти "темные пятна" ее биографии.

Главкомандующим Красной Армии и человеком №2 в советской иерархии, Шатуновский служил под его началом в качестве особоуполномоченного по делам промышленности. Всю гражданскую войну Шатуновский провел в знаменитом тогда "поезде Троцкого" — его полевом штабе.

И вот однажды Троцкий сказал моему мужу: "Товарищ Шатуновский! Нина (16-летняя дочь Троцкого) просится на фронт. Туда я ее, конечно, не пушу. Возьмите ее к себе в секретарши, распорядитесь выдать ей военное обмундирование и пусть она думает, что воюет на фронте." — "Хорошо, Лев Давыдович," — ответил покорно мой муж, и так и прослужила дочь Троцкого всю гражданскую войну в секретарях у моего мужа.*

Я привела рассказ о том, как Троцкий укрывал от фронта свою дочь точно в таком виде и теми же словами, какими рассказывал мне

* Дочь Троцкого умерла от лейкемии очень молодой, в конце двадцатых годов. Ее похоронили на престижном Новодевичьем кладбище, в партийном ряду. Неподалеку от могилы Шатуновского и могилы Надежды Аллилуевой был небольшой холм с дощечкой: "Нина Львовна Бронштейн". Позаботиться об ограде или памятнике было уже некому. До середины тридцатых годов, посещая могилу мужа, я видела эту могилу, а затем холмик был скрыт, и дощечка исчезла. Кому-то понадобилось убрать с правительственного кладбища могилу дочери Троцкого.

об этом мой муж. И обратите внимание: даже обращаясь к своему старому товарищу, другу юности, с такой деликатной, чтобы не сказать резко, просьбой, высокопоставленный коммунист, "вождь" Троцкий обращается к нему официально: "Товарищ Шатуновский!" и говорит властно, в стиле приказа, а Шатуновский отвечает ему почтительным "Лев Давыдович" и исполняет его желание беспрекословно. Человеку, знающему современный, советский русский язык, такие нюансы говорят о многом.

Не нужно думать, впрочем, что в этом эпизоде проявился лишь надменный и заносчивый характер Троцкого. Нет, таков был стиль отношений между людьми во всей этой среде. Еще до революции мой муж был хорошо знаком и с Лениным и со Сталиным. Последний даже относился к нему с некоторой симпатией, насколько в то время какие-то человеческие чувства были ему еще доступны. Он не раз помогал Шатуновскому выпутаться из разных партийных осложнений и неприятностей, о чем я расскажу ниже. Но в разговорах и Ленина и Сталина с нижестоящим коммунистом Шатуновским всегда сквозил тот же оттенок иерархичности, то же отношение "сверху вниз".

Непосредственное окружение Красикова составлял тесно спаянный круг старых друзей, отдавших, как и он, делу партии и революции всю свою жизнь с молодых лет. До революции эти люди составляли верхушку партии, ее мозг и сердце, но после революции они оказались оттесненными на второй план. Они еще занимали в советском и партийном аппарате высокие, хотя и не самые высокие посты, но уже имели очень малое влияние на решение фундаментальных проблем и определение путей и судеб послереволюционной России.

Одним из ближайших друзей Красиковых был, например, Александр Цурюпа, занимавший в то время пост заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров. Как-то, зайдя в кабинет Красикова, где он оживленно обсуждал с Цурюпой какие-то важные проблемы, я услышала конец их разговора. Красиков, как всегда горячо и с волнением, повторял: "Что вы делаете? Это невыносимо. С этим нужно покончить!" А Цурюпа отвечал мягко и с глубокой грустью: "Друг мой, я ведь только заместитель. Я не член Политбюро. Я ничего не могу переделать".

Кроме Цурюпы, самыми частыми нашими гостями были Сергей Гусев, Член Президиума Исполнительного Комитета Коминтерна, и Стопани, председатель Общества старых большевиков. Заходили и другие старые соратники

Красикова. Из всех них мне особенно запомнился Гусев. В отличие от Красикова и Цурюпы, который до революции был управляющим поместьями князя Кугушева, женатого на его сестре, — в манерах и облике Гусева не было ничего от русского барина. Да и не могло быть, потому что имя и фамилия его — Сергей Гусев — были лишь партийным псевдонимом, а настоящая его фамилия была Драбкин, и был он по национальности евреем.

Был он необычайно демократичен и прост в своем обращении со всеми. Его острый ум и прозорливость позволили ему многое понять и предвидеть раньше, чем это стало ясно другим. В частности, он предвидел и неизбежность перерождения партии, захватившей монопольную власть над огромной страной. Не мог он лишь предвидеть всей глубины и размаха этого процесса.

Гусев был тяжело болен и к счастью для него умер в 1933 году, не дожив до Сталинского "Большого Террора", который несомненно уничтожил бы и его. Прах Гусева захоронен в Кремлевской стене. Позже Сталин пытался и Гусева объявить "врагом народа" и выбросить его прах с Красной площади, но, очевидно, занятый истреблением тысяч живых ленинцев и миллионов прочих советских граждан, он позабыл об этом. Все же дочь Гусева Елизавета Драбкина и ее муж были арестованы и провели много лет в сталинских лагерях, что не помешало Елизавете, освобожденной и реабилитированной после смерти Сталина, сохранить свою наивную

веру в то, что якобы существует какой-то хороший, настоящий, Ленинский коммунизм, а Сталинищина — это лишь печальный эпизод, временное отклонение от пути истинного коммунизма.

Что же представляла собой эта среда старых большевиков, среди которых я прожила первые 10-15 лет моей сознательной жизни? Что отличало их и что роднило их с теми, кто пришел им на смену?

Как бы теперь, умудренные горьким нажитым опытом, мы ни расценивали их роль в развитии трагических событий в России и в мире, как бы мы ни относились к нашим теперешним позициям к их идеологии и деятельности, — им нельзя отказать в идейности, в самоотверженности, в глубокой и истинной вере в провозглашенные ими идеалы, в личной честности и бескорыстии. В этом основное их отличие от сталинцев, хрущевцев, брежневцев.

Но человеку, не жившему в этой среде, трудно представить себе, до какой степени абстрактными, надуманными, деформированными были представления этих людей обо всем в окружавшем их мире. Для них существовал лишь некий обобщенный "пролетариат" и "крестьянство" и столь же обобщенная "мелкая" или "крупная" буржуазия. Существовали "классовые враги" или "классовые союзники", но вне своего круга они почти не соприкасались с живыми, конкретными людьми — рабочими, крестьянами, интеллигентами. Они были дальше от народа, меньше понимали его нужды, чаяния и думы, чем помещики (даже крепостники) и

предприниматели, которые так или иначе соприкасались с народом ежедневно и ежечасно, были связаны с ним тысячами экономических, бытовых и религиозных связей.

Слушая рассказы Красикова и его друзей, я могла живо представить себе, как они жили до революции. В России жизнь их протекала в узкой среде единомышленников и была посвящена попыткам пропагандировать свои идеи в среде рабочих. Они жадно читали газеты и брошюры, писали листовки и воззвания, вели между собой бесконечные схоластические споры, создавали отдельные группировки, которые грызлись друг с другом, сливались и расходились, ссорились и мирились. Все это происходило в полном отрыве от реальной жизни, в атмосфере вымыслов и абстракций. И вместе с тем это была жизнь, требовавшая высокой самоотверженности и идеализма, жизнь, полная душевного горения, тревог и опасностей. Каждую минуту любой из них мог быть арестован, заключен в тюрьму, сослан. Вся жизнь была освещена заревом грядущей революции и мистической верой в нее.

За границей, в эмиграции, их отрыв от реальной жизни был еще более глубоким. От России они были отрезаны, а подлинной жизни тех стран, где им приходилось жить, они не знали, да и знать не хотели. Здесь они составляли еще более узкий круг людей, живших абстракциями и спорами друг с другом. Большую часть своей жизни они проводили в библиотеках или в кафе за чтением газет и брошюр. Жизнь

истекала в спорах, в бездействии, в фантазиях и страстном ожидании всеспасающей революции, которая пришла совершенно неожиданно для них, без всякого их участия, и застала всех их, включая Ленина, врасплох.

Этой оторванностью от реальной жизни, привычкой мыслить обобщенными "классовыми" категориями объясняется, вероятно, и то, что большинство их, в том числе и Ленин, очень плохо разбирались в отдельных людях, не умели увидеть и оценить все сильные и слабые стороны отдельного человека.

"Однажды, — рассказывал мне мой муж, — в начале революции Ленин вызвал меня к себе, чтобы спросить мое мнение об одном очень крупном старом специалисте, которому он хотел доверить какой-то чрезвычайно важный государственный пост. В ту пору нужда в таких специалистах была очень велика. Я знал этого человека и сказал Ленину, что привлечь его к работе, конечно, необходимо, но доверить ему столь ответственный пост мне кажется неосторожным. "Вот видите, товарищ Шатуновский, — сказал Ленин, — я хотел оказать ему полное доверие. Понимаете, товарищ Шатуновский, — продолжал он, — у меня как у политического деятеля есть очень большой недостаток: я плохо разбираюсь в людях, я их не понимаю. Но я этот недостаток за собой знаю и стараюсь советоваться со старыми товарищами, с Надеждой Константиновной (Крупской, женой Ленина) и с Марьей Ильинишной (его сестрой)", — Помолчав, Ленин добавил: "Этот же недостаток есть у Сталина, но только он этого своего не-

достатка не видит и ни с кем не советуется”. Думаю, что в последнем Ленин ошибался. Сталин прекрасно умел подбирать людей, которые ему подходили и были нужны. Только критерии отбора у него были совсем иные, чем у Ленина. Я привела здесь слова Ленина, сказанные моему мужу, точно так, как я их слышала.

* * *

Тогда Сталин еще не ввел для руководящих работников манеры работать по ночам. Вечера были свободны, и у Красиковых часто собирались несколько человек из числа их близких друзей. Велись горячие, совершенно откровенные и дружеские обсуждения всех событий дня и всех общих проблем, стоящих перед партией и страной. Я, понятно, прислушивалась с жадным вниманием к разговорам этих людей, которых я безгранично уважала и которые относились ко мне с теплотой и любовью.

Когда я прибегала домой из Института или с заводов, пылая негодованием, и начинала с жаром рассказывать о всех творящихся там безобразиях, о пьянстве и воровстве, о том, как систематически проводится отбор в комсомол и партию худших, неграмотных и безпринципных парней и девушек, которые лебезят перед начальством, покрывают все его преступления и быстро делают карьеру на своих партийных билетах,— Красиков и его друзья слушали меня внимательно и с интересом, потому что я была для них почти единственным

источником живой информации о жизни и настроениях народа, от которого их почти полностью отгородили глухие стены Кремля, "Домов Советов" и их служебных кабинетов.

Слушая меня, Красиков обычно шагал из угла в угол по своему обширному кабинету и возбужденно повторял: "Какое безобразие! До чего мы дошли!". Помню как то раз, в одну из таких минут, Гусев встал, подошел к нему, обнял его за плечи и сказал: "Друг мой, Петр Ананьевич! Мы — единственная правящая партия, элементы разложения неизбежны и они будут расти". Его голос, полный скорби, и всепонимающие глаза я запомнила на всю жизнь.

Рыба гниет с головы

До революции уровень жизни рядовых членов социал-демократической партии не отличался от среднего уровня жизни демократической интеллигенции или квалифицированных рабочих. Да и профессиональные революционеры, жившие за счет партии, жили еще очень скромно. Неотмирность этих людей, их полная оторванность от реальной жизни и максимализм их социальных чаяний сочетались в них с личной честностью, бескорыстием и пренебрежением к материальным благам. Многие из них, как например, покончивший с собой революционер Иоффе и некоторые другие, отдали партии все унаследованные ими -- иногда очень большие -- деньги, не требуя ничего взамен. Дельцы и богачи вроде Парвуса были в то время очень редки в партийной среде.

Однако по мере того, как складывалась и консолидировалась иерархическая структура советского общества, по мере того, как формировался и обособлялся новый правящий класс, он начинал требовать не только власти и престижа, но и материальных благ.

Открыто установить для руководящих работников нормы оплаты, в десятки раз превышающие заработки среднего рабочего и служащего, было невозможно. И без того уже в низах шло глухое брожение по поводу того, что "комиссары", дескать, утопают в роскоши, когда простой

народ живет впроголодь. Поэтому по инициативе Ленина был установлен так называемый "партийный максимум": ни один член партии, какой бы пост он ни занимал, не мог получать официальную заработную плату, превышающую 225 рублей в месяц. Это была относительно высокая заработная плата, но все же она превышала средний заработок рабочего и служащего не больше, чем в 2-3 раза, что не слишком оскорбляло чувства трудящихся. Партийный максимум был даже ниже того, что получали некоторые высококвалифицированные беспартийные специалисты, унаследованные советской властью от старого режима.

Видимость равенства и справедливости была соблюдена, но одновременно начала создаваться система всевозможных "подпольных" льгот и привилегий, превратившая "партмаксимум" в циничную фикцию. Началось с того, что по прямому указанию Ленина после переезда правительства в Москву в Кремле была создана специальная закрытая столовая, которой могли пользоваться только "кремлежители", да еще кое-кто из самых высокопоставленных, живших за стенами Кремля. Столовая эта помещалась в Кавалергардском корпусе, как раз под нашей квартирой.

Официально прокламированная цель создания этой столовой заключалась в том, чтобы дать руководящим партийным работникам, разбросанным по разным учреждениям, возможность собираться за обедом, обмениваться информацией, вырабатывать единое партийное мнение

по всем текущим проблемам. В какой-то мере эта цель достигалась. Красиков сам, например, постоянно обедал в этой столовой, чтобы встречаться там со старыми товарищами. Но вместе с тем нам, как и прочим "кремлевцам", приносили на дом очень обильные, вкусные и изысканные обеды и ужины. Плата за них была минимальной, почти символической.

Помимо столовой, в Кремле был создан и закрытый продовольственный склад, в котором определенная группа людей могла получать в неограниченном количестве любые, самые изысканные и дефицитные продукты. Мы пользовались этим складом лишь в очень ограниченной мере, потому что Красиков был человеком исключительной честности и щепетильности и потому всегда оплачивал счета за продукты из своего жалования. Но в этом отношении он был редким исключением. Подавляющее большинство "клиентов" склада и не помышляло об оплате его счетов.

Запомнился мне такой случай. Как-то раз пришел к нам Стопани, председатель общества старых большевиков, чьим именем названа одна из улиц Москвы. Посидев немного, он сказал с огорчением: "Друг мой, Петр Ананьевич! Ты ставишь в очень трудное положение всех нас, а особенно Авеля Енукидзе, по просьбе которого я и пришел к тебе". — "Чем?", — удивился Красиков. — "Да ты ведь один оплачиваешь счета Кремлевского склада за продукты." "А вы что делаете со счетами?" — "Да мы их просто выбрасываем в мусорную корзину", — был ответ руководителя старых большевиков.

Для Красикова такое решение было невозможно. "Я получаю партмаксимум и должен платить за все, что получаю, — сказал он, — но, чтобы не ставить вас в трудное положение, моя семья больше пользоваться этим складом не будет". После этого нам — мне и Наталии — было строго-настрого заказано брать продукты со склада. Но это уже дело личной совестливости и щепетильности Красикова. Я помню, что раз как-то, когда он заболел и нам не хватало денег, нам прислали ссуду из общества старых большевиков. Никто никогда и не подумал бы требовать возвращения этих денег, но, когда Красиков выздоровел, я по его поручению продала в охотничий магазин его великолепное английское ружье и отнесла деньги в общество старых большевиков. Там их принимать не хотели, но Красиков настоял на своем.

За квартиры в Кремле, за отопление, освещение и прочее все мы ничего не платили. Квартиры отапливались огромными старинными кафельными печами, топки которых выходили в общий коридор, и каждое утро истопник в валенках или мягких туфлях (чтобы не будить жильцов) тихо топил все эти печи дровами и оставлял в кухнях мелко напиленные и наколотые дрова для плит.

У нас казенного обслуживания не было: нашу приходящую работницу Красиковы оплачивали из своих средств. Но все остальные очень широко пользовались услугами уборщиц, кухарок, горничных, официанток, которых

оплачивало управление Кремля. Любопытно, что подбиравшее и проверявшее их управление вербовало обслуживающий Кремль штат преимущественно из людей, служивших в Кремле в царские времена, или из прислуги прежних больших бар. Даже наша старушка Ксения Емельяновна, которую нам подыскало управление Кремля, служила прежде у богатейших купцов Рябушинских. По-видимому, органы безопасности, ведавшие этим делом, считали, что этим людям барский образ жизни новых властителей будет казаться естественным и не вызовет у них того протеста, который он мог бы вызвать у людей советского воспитания, напичканных доктринами эгалитарности. В ту пору еще с трудом воспринималась Орвелловская истина, что "все животные, конечно, равны, но одни больше равны, чем другие".

Столовой и складом, снимавшими с человека заботы о питании, бесплатными квартирами и обслуживанием не исчерпывались бесчисленные льготы и привилегии, предоставленные кремлевской элите. Была создана закрытая, доступная лишь немногим Кремлевская больница, в которой уровень лечебной работы был неизмеримо выше, чем в больницах для простых смертных. Там консультировали лучшие специалисты, светила советской медицины. Там работали самые квалифицированные врачи и сестры. Там у больных были отдельные прекрасно обставленные комнаты. Там за ними ухаживали индивидуально прикрепленные к ним сестры. Там получались из-за границы все лекарства, которых в обычных больницах и аптеках не было.

Строилась и расширялась сеть закрытых санаториев и домов отдыха под Москвой и Ленинградом, в Крыму, на Кавказе. Поместьями-дворцами в ту пору обзаводились лишь Сталин да еще несколько человек из самой верхушки партии, но дачки под Москвой уже отводились и людям более низкого ранга. Даже сверхскромному и нетребовательному Красикову предоставили две комнаты в даче в Серебряном Бору. Там мы иногда жили летом.

В заповедных лесах организовывались охоты для знатных любителей этого спорта. Широко предоставлялись бесплатные железнодорожные билеты. Имел такой постоянный билет и мой муж, работавший в Народном Комиссариате Путей Сообщения. Когда нужно было, он легко получал бесплатный билет и для меня. Очень часто в ночь с субботы на воскресенье мы выезжали экспрессом "Красная Стрела" из Москвы в Ленинград, проводили там воскресный день, а в следующую ночь возвращались в Москву.

Я хорошо помню эти поездки. В отведенном для партийной элиты международном вагоне чужих, платных пассажиров не было. Все места были предоставлены "своим". Особенно памятливы мне те ночи, когда в поезде был Анатолий Васильевич Луначарский, Нарком Народного Просвещения, человек действительно широкой образованности и европейской культуры. Он был интересным собеседником и превосходным рассказчиком. В его купе и у дверей этого купе всегда собиралось много заинтересованных слушателей и собеседников, разговоры не умолкали

почти до утра. Создавалась атмосфера какой-то особой избранности, исключительности, своей особой среды.

При всем том, жизнь партийной элиты, за исключением группки "вождей", в ту пору еще не была отмечена тем характером всеобщего хищничества, рвачества, разложения, какой она приобрела позже, в сталинские времена. В начале двадцатых годов все блага и привилегии, о которых я говорила, распространялись на сравнительно узкий круг старых большевиков и новых людей, занявших ведущие места в партийном и правительственном аппарате. Остальная, бо́льшая, часть партии еще жила в более или менее тесном контакте с народом, и уровень ее жизни почти не отличался от уровня жизни соответствующих слоев беспартийной массы.

Постепенно, однако, партийный и правительственный аппарат в центре и на местах расширялся, консолидировался, укреплялся. Заполнившие его новые люди все яснее понимали, что обойтись без них новые правители не могут, что Сталин в своей борьбе за власть именно на них опирается и от них зависит. Соответственно они стали требовать и для себя все большей доли тех благ и привилегий, которые дает власть. И они эти блага получили.

Для высших слоев советского и партийного чиновничества начали строиться дома и открываться филиалы кремлевской столовой и больницы. Все Народные Комиссариаты и другие достаточно сильные организации — в первую

очередь, конечно, органы государственной безопасности — начали создавать и свои такие же 'закрытые, доступные лишь избранным, столовые, магазины, распределители, больницы, санатории, дома отдыха. Параллельно шел и процесс социального расслоения. Партийная элита все больше выделялась в закрытую социальную группу, отделенную от простого народа невидимым, но очень трудно переходимым барьером.

Так выглядел на практике ленинский "парт-максимум".

Сталин и "старая гвардия"

Отношения между Сталиным и кругом "старых большевиков" были в те годы проникнуты лицемерием и двойственностью. Внешняя корректность и даже подчеркнутая взаимная почтительность на людях, для внешнего мира, и глубоко затаенный антагонизм, настороженность и недоверие в глубине души. Впрочем, даже в разговорах между собой, по крайней мере, в моем присутствии, Красиков и его друзья избегали говорить об этом прямо и открыто, ограничивались намеками и улыбками. Был в этом, как мне кажется, "комплекс нечистой совести".

По существу, однако, не было никаких глубоких, принципиальных расхождений между той политической линией, которую проводил Сталин, и политическими взглядами старых большевиков. Все основные идеи, на которых базируется сталинизм: отрицание демократии, установление диктатуры партии и подмена ее диктатурой строго иерархичного партийного аппарата, слепо выполняющего волю кучки руководителей и стоящего над ними "вождя", монопольное господство единой идеологии и подавление всякой свободной и независимой мысли, вера в спасительное насилие и террор,— все это и есть те идеи, на которых большевики воспитывались десятилетиями и которые вошли в их плоть и кровь.

Из всех лживых лозунгов сталинизма, быть может, только один содержит в себе историческую правду: "Сталин — это Ленин сегодня". Можно сказать и наоборот: "Ленин — это Сталин вчера". Сталинизм — это только доведение до абсурда всего учения Маркса-Ленина. Но в ту пору, о которой я пишу, немногие могли предвидеть, куда ведет сталинизм, и у старых ленинцев не было никаких принципиальных, идейных позиций, с которых они могли бы оспаривать продвижение Сталина к власти.

То, что их от Сталина отталкивало, было не принципиальным расхождением, а скорее глухой, почти подсознательной антипатией. Это было столкновение двух противоположных, психологически и культурно антагонистических типов: столкновение примитивного, лишенного всякой культуры и потому враждебного ей, хищного и жадного азиата, человека типа Аттилы или Чингис-хана, с интеллигентами, идеалистами, носителями наследия гуманистической иудео-христианской традиции, искаженной до неузнаваемости мессианскими мечтами о насильственном внедрении царства счастья и справедливости.

Почему же эти люди, в руках которых в то время еще было много силы и влияния, не только не воспротивились приходу к власти Сталина, но и не пытались сделать это? Почему в своем большинстве они всегда поддерживали Сталина в его борьбе с оппозиционными группами и в конечном счете обеспечили его победу?

Мне кажется, что основное объяснение двойственности их отношения к Сталину коренится в том, что у них не было выбора. Единственной возможной альтернативой Сталину был Троцкий, но его они не любили еще больше и доверяли ему еще меньше.

Помню, как однажды Красиков вернулся очень озабоченный и встревоженный с заседания партийного съезда, на котором должны были выбрать партийное руководство. Я бросилась к нему с вопросом: "Кого же выбрали Генеральным секретарем?"— Он потупился и, вздохнув, сказал: "Опять Сталина"— "Но почему, почему вы все за него голосуете?"— воскликнула я. — "Лучше он, чем Иудушка."— печально ответил мне Красиков. Иудушкой (по имени отвратительного героя повести Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы") называли в этом кругу Троцкого.

Мне кажется, что этот эпизод проливает свет на многое в психологии и поведении старых большевиков. Вероятно, в том, что они поддерживали Сталина, несмотря на свою нелюбовь к нему, известную роль играло и то, что Сталин в это время уже держал в своих руках партийный аппарат. Он выступал от имени партии — их высшей святыни — и воплощал таким образом в себе "Ленинскую линию". Выступить против Сталина значило выступить против партийного аппарата, а на это у них не хватало решимости. И все же, я думаю, главное и решающее значение в определении их позиции имела их органическая неприязнь к Троцкому.

Троцкий, "трибун революции", был превосходным площадным оратором и умел увлечь за собой множество юных горячих голов. Его влияние на студенческую и рабочую молодежь было огромно. Я могла видеть это своими глазами, потому что ГИТИС, в котором я училась, находился в старом Фрунзенском районе Москвы, на территории которого был и московский Университет и ряд других высших учебных заведений, в том числе и "коммунистических": Университет им. Свердлова, Академия им. Крупской и др. Много было в районе и заводов. Встречаясь со студенческой и рабочей молодежью на всевозможных собраниях и семинарах, я видела, как широки были в этой среде симпатии ко всем оппозиционным группировкам -- прежде всего к троцкистской, а затем, хотя и в меньшей мере, к Зиновьевско-Каменевской.

На большинство тех, кто с ним соприкасался, особенно на молодежь, Троцкий имел влияние почти гипнотическое. Преданность троцкистов их вождю доходила до фанатизма*, но для

* Вот один трагикомический эпизод, показывающий всю слепоту этих фанатиков и весь трагизм советской жизни. Один знакомый мне оппозиционер, отрицавший во время чисток 1933-34 годов свою причастность к оппозиции, был уличен тем, что, как выяснилось, дочь свою он назвал выдуманным им самим именем: ЗИКАТРА, что есть акроним -- ЗИновьев, КАменев, ТРОцкий. Конечно, он был исключен из партии, а позже арестован и, вероятно, погиб на одном из островов Архипелага ГУЛАг.

старых большевиков он был неприемлем. Они всегда считали его человеком, чуждым большевизму, случайной, залетной птицей в их стае, но мне думается, что их отталкивание от Троцкого было глубже этих формальных идеологических и программных расхождений.

Когда я пытаюсь теперь разобраться в своих старых впечатлениях и понять, что лежало в основе этого органического неприятия Троцкого всей ленинской, старо-большевистской средой, то мне кажется, что глубинной, ими самими неосознанной причиной этого неприятия было то, что Троцкий был евреем. Вся его ментальность была им чужда, а его идеи интернационализма, перманентной революции, его авантюристические лозунги, вроде "Ни войны, ни мира" во время Брестских переговоров с Германией в 1918 г. шли вразрез с исторической традицией строительства Великой Российской Империи.

Я хотела бы, чтобы меня поняли правильно. В среде старых большевиков не было и не могло быть ни малейших следов сознательного антисемитизма. Самая мысль о национальной дискриминации или даже о том, что их отношение к человеку может определяться его национальностью, была им чужда. То, о чем я говорю, это подсознательная, глубинная несовместимость еврейской ментальности и тяги к космополитизму с традиционной русской идеей государственности, как бы эта идея ни формулировалась.

Еврей и космополит Троцкий был этой идее и традиции чужд. Это не значит, конечно, что в случае своей победы он не стал бы диктатором

столь же самовластным, как Сталин, и еще более жестоким и кровавым, если это возможно. При победе Троцкого были бы пролиты не менее обильные реки крови и были бы погублены такие же миллионы жителей. Но все это делалось бы под другими лозунгами и во имя иных целей.

Русской великодержавной и империалистической традиции, восходящей к Иоанну Калите, если не к еще более раннему времени, Троцкий был чужд и опасен. Сталин, прагматик, так или иначе служил ей.

Не знаю, было ли это осознано кем-нибудь в красиковском кругу, сформулировал ли кто-нибудь, хоть для себя, такие мысли, но мне кажется, что именно смутное подсознательное ощущение этой несовместимости еврейской ментальности Троцкого с русской государственной традицией лежало в основе неприятия Троцкого ленинцами и поддержки, которую они, скрепя сердце, оказывали Сталину. Думаю, что в этом лежат и глубокие причины поражения Троцкого, того, что он был исторгнут русской революцией как чужеродное тело. Не лежат ли в этом и истинные причины возрождения в СССР самого примитивного и грубого, самого звериного антисемитизма?

После того, как Сталин сломил группировку Троцкого и выслал его самого сначала в Среднюю Азию, а потом за границу, исход борьбы за власть был предreshен. К этому времени Сталин уже крепко взял в свои руки весь аппарат партии, а те, кто противостоял ему, — Зиновьев, Каменев,

Бухарин, Рыков,— были людьми недостаточно масштабными. Не говоря уже о том, что у них не было принципиальных позиций, которые они могли бы противопоставить Сталину, были они людьми мягкотелыми, не способными ни на какие решительные действия. Даже когда в зинovieвском окружении возникла робкая мысль о насильственном устранении или убийстве Сталина, мысль эта была руководством оппозиции сразу же и решительно отброшена. Вся их оппозиция сводилась только к бесконечной болтовне, к переливанию из пустого в порожнее и к робким попыткам пропагандировать свои расхождения со Сталиным. Как будто дело было в программных нюансах и идеологических тонкостях!

Оппозиционные настроения еще были сильны на заводах и в учебных заведениях. Большие массы рабочих, и особенно молодежь, могли бы пойти за оппозицией, но не было вождей, людей большого масштаба, которые могли бы организовать эту массу и повести ее в бой против Сталина. Да и во имя чего? Под каким знаменем вести партию в бой против "избранного" ею генерального секретаря и аппарата, на который он опирается? Ведь основные цели, задачи и методы были у оппозиции те же, что и у Сталина — коммунистические. Во имя тонкостей и деталей программы люди на пулеметы не лезут, а пулеметы были уже в руках у Сталина. Дело оппозиции было проиграно окончательно и бесповоротно.

Мой муж Шатуновский никогда не принадлежал к оппозиции, но он поддерживал дружеские связи со многими оппозиционерами и пользовался их доверием. Я имела поэтому возможность познакомиться со многими из них и видела, какие это были ничтожные и опустошенные люди.

До 1933-34 г. (до убийства Кирова) Сталин не только не преследовал этих людей — тех, кто не был вычищен из партии, — но, наоборот, подкармливал и разлагал их. Их отстраняли от действительно ответственных и влиятельных политических постов, но посылали на заграничную работу или назначали в России на посты еще достаточно престижные и хлебные, но не имеющие политического значения. Те, кто оставался в России, подолгу отдыхали в санаториях, разъезжали по курортам, пользовались всеми положенными по чину благами и разговаривали, разговаривали без конца. Дальше дело не шло.

Поначалу Сталин относился к этой безобидной болтовне терпимо. В году, кажется, 1928-м оппозиция устроила даже свой "подпольный" съезд где-то на Кавказе. Об этом страшно секретном съезде чирикали все воробьи на крышах. О нем знали не только оппозиционеры, но и все члены партии и многие беспартийные, отдыхавшие в то время на Кавказе. Все знали, что к каждому участнику съезда прикреплен свой осведомитель, чекист. Знали это и те оппозиционеры, за которыми было установлено наблюдение.

Наши добрые друзья Артем и Дина Гертиг — яростные оппозиционеры-зиновьевцы — знали,

например, что их приятельница, старая чекистка Вера Брауде и есть осведомитель, приставленный к ним. О таких вещах знали все, и никого это особенно не беспокоило, потому что в глубине души все сознавали, что все их дело — это просто болтовня, а "конспирация" — детская игра и сладостное воспоминание о славных былых временах борьбы с царской охранкой. Никто только не мог подозревать, какую страшную цену им придется платить за эту игру в оппозицию.

Мне запомнилась одна вечеринка в квартире Гертигов. Артема в это время уже сняли со всех довольно высоких постов, которые он занимал в Ленинграде, и перевели в Москву на работу в кино-организации. Квартира Гертигов состояла из двух больших проходных комнат и одной маленькой, изолированной. По молодости лет я ничего необычного не заметила, но муж мой, старый подпольщик, сразу разобрался в обстановке и шепнул мне: "Загляни в маленькую комнату". Последовав его совету, я заглянула в эту комнату через случайно открывшуюся дверь и увидела там Зиновьева и Каменева, "подпольно" обсуждавших какие-то проблемы. Вся вечеринка была затеяна как прикрытие для этого "секретного совещания" двух вождей оппозиции, хотя конспирация эта была чрезвычайно наивна, а вероятно, в ней и вообще нужды не было.

Что касается Сталина, то он, конечно, и в эти годы органически ненавидел всю ленинскую гвардию (как и самого Ленина) стихийной звериной ненавистью примитивного дикаря к людям более высокой культуры. Но он умел годами скрывать свою ненависть и вынашивать свои планы мести. Старые большевики еще сохраняли в партии престиж и авторитет. Они имели некоторое влияние, они могли быть и полезны и опасны. Всеохватывающий аппарат неограниченного террора еще не был создан, и истребить их тогда Сталин еще не мог, а поэтому он вынужден был скрывать свое истинное лицо под личиной демократичности, гуманности, уважения к старым товарищам и признания их заслуг.

Очень счастливо для меня эта двойная игра сказалась на судьбе моего мужа. К Троцкистской оппозиции Шатуновский не примкнул, несмотря на свою близость к Троцкому в юности. Он считал, что принципиальные расхождения между Сталиным и Троцким не так уж глубоки, а решающую роль играет их личное соперничество в борьбе за власть. Когда Троцкий был уже в ссылке в Средней Азии, Шатуновский послал ему большое письмо с наивным призывом "помириться" со Сталиным. Троцкий ответил ему подпольным оппозиционным документом, который назывался "Ответ доброжелательному партийцу".

Шатуновский был "плохим" коммунистом, плохим в том смысле, что он не укладывался в жесткие рамки партийного конформизма и партийной дисциплины, а сохранил во многих

важных вопросах свою точку зрения, не всегда совпадавшую с господствующей в данный момент доктриной. Эту свою точку зрения он высказывал прямо и открыто, что дисциплинированному члену партии также делать не положено.

В 1928 г., когда Сталин делал огромную ставку на строительство "первенца индустриализации" — днепровской гидроэлектрической станции, — Шатуновский послал в Политбюро и Сталину докладную записку, которая называлась "Правда о Днепрострое". В ней доказывалась полная экономическая нецелесообразность и экологическая вредность этого проекта. Истолковано это было как прямое выступление против Сталина, и Шатуновскому тут же был "пришит" правый уклон. Ему угрожало исключение из партии и, как нам сообщили, уже был заготовлен ордер на его арест. Однако ко всеобщему удивлению Сталин "погасил" это дело и послал Шатуновскому письмо, которое, учитывая характер Сталина, можно было считать даже дружеским. Письмо это долго хранилось у меня, но было изъято при моем аресте, хотя, кажется, оно было где-то в собрании сочинений Сталина напечатано.

Тем не менее, через некоторое время, разойдясь со Сталиным в мнениях по какому-то принципиальному вопросу, Шатуновский послал ему очень резкое письмо, в котором была и такая фраза: "Сталинизм — это ишакизм, а что такое ишак, вы, как грузин, должны знать" (по грузински ишак — это осел). Письмо это

попало в партийные организации, которые, конечно, обиделись за своего вождя. Снова Шатуновскому угрожало исключение из партии, и снова Сталин погасил это дело.

Третий случай такого рода произошел в году 1931-м. За несколько лет до этого Шатуновский взял под свою опеку своего старого знакомого коммуниста Ландера, который провалился на какой-то заграничной работе и оказался не у дел. Шатуновский подучил его математике и пристроил ассистентом на кафедре, которой он заведовал в одном из московских Высших Учебных Заведений. В это время жена Ландера, интеллигентная женщина, зарабатывала себе "рабочий стаж" на заводе. Находясь в санатории, Шатуновский написал ей письмо, в котором советовал ей не лезть в "ударницы", не заниматься трескучей болтовней и демагогией, а просто работать, беречь себя и воспитывать своих маленьких детей.

Письмо это пролежало в столе ее мужа года два, пока этот мерзавец не решил, что он уже "созрел" для заведования кафедрой, и что для этого ему необходимо сбросить Шатуновского с этого поста. Тогда он вспомнил об этом "крамольном" письме и, как честный и преданный член партии, представил его прямо в Центральную Контрольную Комиссию (ЦКК) — высший партийный суд.

В ЦКК это письмо вызвало такой переполох, что в нарушение партийного устава Шатуновского сразу вызвали на заседание партколлегии, минуя первичную, районную и московскую

партийную организацию. В коллегии этой тон задавали два подлейших человека: старая чекистка Роза Землячка и Шкирятов. Оба они были среди немногих старых кадров партии, уцелевших в годы сталинского разгрома. Разговор был короток, никаких объяснений слушать не хотели, Шатуновскому никакого решения не сообщили, но другие члены партколлегии под большим секретом рассказали нам, что принято решение об исключении Шатуновского из партии и поставлен вопрос об его аресте.

В этих обстоятельствах Шатуновский решил позвонить лично Сталину, воспользовавшись телефоном закрытой правительственной сети, имевшимся в квартире одного из его друзей. К телефону подошла Надежда Аллилуева, с которой муж мой был хорошо знаком и которая очень тепло относилась к нему. Она приветливо поздоровалась с ним и сказала: "Вам, вероятно, нужен Иосиф Виссарионович. Я сейчас позову его.". Сталин подошел к телефону и между ним и Шатуновским состоялся разговор, который я тогда же записала почти дословно. Запись эту у меня тоже изъяли при аресте, я воспроизвожу здесь этот разговор по памяти, но, думаю, очень точно.

Сталин. — Здравствуйте, товарищ Шатуновский. Я о Вашем деле в ЦКК знаю. Плохое Вы написали письмо беспартийной работнице.

Шатуновский. — Вам, Иосиф Виссарионович, я писал худшие письма.

Сталин. — Товарищ Шатуновский! Я свои личные письма материалом для ЦКК не делаю.

Шатуновский. — Но если положить на одну

чашку весов это письмо, а на другую то, что я делал и писал всю жизнь...

Сталин. — А что Вас собственно так волнует?

Шатуновский. — Иосиф Виссарионович! Да ведь меня же исключили из партии.

Сталин (резко). — Как исключили? На это я согласия не давал.

Потом, спохватившись, он добавил:

— Я, конечно, не имею права указывать ЦКК, я не член ЦКК. Но товарищи обычно со мной советуются, и я свое мнение им скажу. Не думайте, товарищ Шатуновский, что я отношусь к Вам плохо. Я отношусь к Вам так, как нужно.

Для того, кто хоть немного знал Сталина и его манеру разговаривать, его последние слова — чуть ли не признание в любви и дружбе. После этого разговора мы успокоились, и действительно через несколько дней Шатуновского вызвали в ЦКК и вручили ему постановление, в котором маловразумительно было сказано, что "взамен постановления от...", содержание которого так и осталось неизвестным, ему объявляется выговор за незтичное письмо к беспартийной работнице. Таков советский стиль!

Позже друзья рассказывали нам, что Сталин вызвал к себе Шкирятова, обругал его последними словами и ликвидировал все "дело". Вероятно, его самолюбие было задето тем, что кто-то посмел без него решить дело человека, которого он знает лично.

Не знаю, чем объяснить такую исключительную мягкость и благожелательность Сталина по отношению к Шатуновскому. Возможно, что

главную роль в этом сыграло смягчающее влияние Надежды, жены Сталина, который тогда еще в какой-то мере считался с ней. Может быть, в то время ему еще были доступны какие-то простые человеческие чувства, и ему импонировала прямота и откровенность Шатуновского, его бесстрашие. Но несомненно, эти эпизоды показывают, что к началу 30-х годов Сталин понимал, что время расправ еще не пришло, и что до поры до времени он должен носить маску широты, гуманности, толерантности.

Убаюканные этой толерантностью Сталина и обманутые маской, которую он носил, не только рядовые члены партии, но и те старые большевики, среди которых я жила, в большинстве своем не предвидели того, какая страшная участь их ждет, если Сталин придет к абсолютной власти. Одним из немногих прозорливых людей, которые понимали, к чему клонится дело, был мой покойный муж.

В 1932 году, незадолго до его смерти, когда мы с ним отдыхали на Кавказе, он рассказал мне о том своем разговоре с Лениным, о котором я писала выше, и добавил: "То, что я тебе сейчас скажу, покажется тебе чудовищным, ты будешь слушать меня с удивлением и недоверием. Но пройдут годы, и после моей смерти ты будешь каждый день вспоминать меня не только потому, что ты меня любишь. Ты увидишь, что я многое понял и многое предвидел раньше других. Ты должна понять,— продолжал он,— что у Сталина его неумение разбираться в людях умножено на его чудовищную подозрительность.

Он людей не видит, не понимает и никому не доверяет. А перестав доверять всем, он неизбежно окружит себя самыми отъявленными негодяями. В Политбюро есть только три человека, которые могут стукнуть кулаком по столу и сказать Сталину: "Нет!". Это — Киров, Куйбышев и Орджоникидзе. Запомни эти три имени. Остальные ничего не стоят. Сталин ненавидит, конечно, всю партийную гвардию, как и все интеллигентное, мыслящее и честное в стране, но больше всех он ненавидит этих троих, которые могут помешать его планам, если останутся в живых. Если же ему удастся уничтожить этих трех людей, то он уничтожит партию и интеллигенцию, погубит революцию и страну. Запомни мои слова."

Это было сказано в 1932-м году, и я запомнила эти слова на всю жизнь. Действительно, эти трое стали первыми жертвами Сталина. Как точно, как страшно осуществилось пророчество моего покойного мужа! Но даже и он не мог предвидеть всего размаха сталинского террора, всего кошмара сталинщины.

НОВЫЕ ПРАВИТЕЛИ

”Дом Правительства”

В конце 20-х годов начал разрабатываться грандиозный по тому времени план постройки огромного церемониального ”Дворца Советов” и неподалеку от него большого многоэтажного жилого ”Дома Народных Комиссаров”, который обычно называли просто Домом Правительства.

Почему-то решено было строить новый Дворец Советов на том месте, где стоял Храм Христа Спасителя, а храм этот снести, чтобы расчистить место для новой стройки. Найти такому дикому решению какое-нибудь разумное объяснение нельзя. В Москве в ту пору было сколько угодно мест, которые со всех точек зрения были более подходящими для этого строительства, если даже допустить, что оно было необходимо. Сталину докладывали об этом неоднократно, но заставить его переменить свое решение было невозможно. Мне думается, что здесь проявилось не столько намерение Сталина бороться с ”религиозным дурманом”, сколько его упрямое самодурство и желание бросить вызов населению столицы, прозондировать, насколько ослаблена его способность сопротивляться насилию.

Храм Христа Спасителя, конечно, не обладал такой уникальной архитектурно-художественной ценностью, как, например, Храм Василия Блаженного на Красной площади. Но для всей религиозной части московского населения, тогда еще очень значительной, этот огромный и величественный собор оставался центральным местом богослужения, да и для очень многих москвичей-неверующих он был исторической реликвией, символом Российской преемственности.

В Пасхальную и Рождественскую ночь к этому храму стекались десятки тысяч людей, старых и молодых, верующих и неверующих. Храм не мог, конечно, вместить всех, и около него собиралась огромная толпа молящихся, которые потом расходились по домам, неся в руках трепещущую свечку, тщательно защищаемую от ветерка. Было поверье, что тот, кто донесет эту свечку домой непогасшей, будет в этом году счастлив.

Даже мы, молодые, совершенно арелигиозные студенты разных национальностей ходили в эти ночи к Храму Христа Спасителя, чтобы увидеть это незабываемое зрелище: тысячи людей, расходившихся по домам с зажженными свечками в руках. В самом Храме в эти ночи пели лучшие певцы Большого театра: Нежданова, Собинов, Козловский.

Понятно поэтому, что решение снести Храм Христа Спасителя вызвало возмущение и негодование среди очень широких слоев населения Москвы. Но никаких демонстраций, никаких актов протеста не последовало. Народ уже был настолько обессилен и поработен, что он оказался не в

состоянии оказать сопротивление даже тогда, когда варвары разрушали его религиозные и национальные святыни.

Вероятно, именно желание убедиться в этом и заставило Сталина выбрать именно это место для задуманного им строительства.

Но и с чисто технической точки зрения выбор этого места для строительства Дворца Советов был абсурдным. Огромный, очень тяжелый Храм Христа Спасителя находился на правом берегу Москва-реки, вблизи Пречистенских (ныне Кропоткинских) ворот. Почва там топкая и неустойчивая. Поэтому фундаменты под храм пришлось закладывать чрезвычайно глубокие, доводить их до скалы. Строительство храма продолжалось несколько десятилетий и обошлось очень дорого. Использовать эти фундаменты так, чтобы они могли принять на себя часть тяжести нового Дворца, оказалось технически невозможным. Нужно было эти фундаменты взрывать и убирать — работа нелегкая, затянувшаяся на несколько лет. Так или иначе, перед началом войны на месте храма оказался вырытым огромный котлован, в котором начали закладываться какие-то металлические конструкции. После войны к идее постройки на этом месте Дворца Советов уже не возвращались, и снос Храма Христа Спасителя оказался затеей бессмысленной с любой точки зрения. Но никто, конечно, не посмел и намекнуть на это всесильному диктатору.

Поскольку же на месте Храма уже зияла огромная яма, ее превратили в плавательный бассейн с подогреваемой водой, где можно попла-

вать под открытым небом даже в суровые московские морозы. Есть что-то глубоко символическое в том, что на месте Храма Христа Спасителя большевики не могли создать ничего, кроме общественной купальни.

Из затеи постройки грандиозного Дворца Советов ничего не вышло, но жилой дом для новой знати — Дом Правительства — был к 1931 году успешно завершён строительством на противоположном берегу Москва-реки, как раз напротив задуманного Дворца. Это был огромный по масштабам того времени 11-этажный дом с несколькими смежными корпусами, разделёнными внутренними дворами. В доме было 25 подъездов и 506 больших многокомнатных квартир, пышно, но безвкусно обставленных казенной мебелью.

Комфорт, которым пользовались в этом доме заселившие его "ответственные товарищи", казался по тем временам почти фантастическим, хотя теперь такой уровень строительства и в Москве является почти общей нормой, а на Западе он значительно выше. Подумать только, в квартирах имелось не только центральное отопление и газ, но и круглосуточная подача горячей воды. Даже в Кремле у нас такой роскоши не было. В каждой квартире был телефон, а москвичи ждали установки телефона долгими годами. Правда, до создания мусоропроводов советская техника тогда ещё не дошла, но в каждом подъезде Дома Правительства имелось два лифта: один для людей, другой — грузовой. В кухне каждой квартиры имелась железная дверь, выходившая в шахту грузового лифта. За дверью стояло ведро

для мусора, и каждое утро специальный человек приезжал в грузовом лифте, увозил это ведро и ставил чистое.

В комплекс Дома Правительства были включены магазины — продовольственный и торгующий промышленными товарами — и даже парикмахерская. Хотя формально они были открыты для всех, но фактически они обслуживали преимущественно и в особо привилегированном порядке жильцов Дома Правительства. Не забыты были, конечно, и имевшиеся в Доме филиалы Кремлевской поликлиники и Кремлевской столовой, где, как и в Кремле, партийная элита получала по чисто символической цене изысканное и обильное питание, какое простым смертным и не снилось. В состав того же комплекса был включен также небольшой, но очень комфортабельный театр и один из лучших в городе кинематографов.

При всем том уровень жизни в Доме Правительства оставался еще в те годы относительно скромным. Жизнь в этом доме казалась роскошью лишь по сравнению с нищенским уровнем жизни рабочих, служащих и, особенно, крестьян. По существу же это был уровень жизни среднезажиточных слоев буржуазии и интеллигенции в дореволюционной России или на Западе. Подлинное разложение и погоня за роскошью пришли позже.

В конце концов, не было ничего необычного в том, что правящей верхушке были созданы нормальные условия жизни. Ведь "ответственные товарищи" тоже люди и тоже имеют право на человеческую жизнь. Но характерно, что забота

пролетарского государства об улучшении жизни людей началась именно с устройства жизни своих высокопоставленных чиновников. Строительство жилья для народа началось значительно позже, когда оно уже стало абсолютной необходимостью. Да и при этом разрыв между уровнем жизни "верхов" и "низов" советского общества не уменьшался, а ширился и углублялся. Если теперь очень значительная часть московского населения уже переселилась в небольшие, но отдельные квартиры с современным комфортом, то для знати были построены многокомнатные особняки, загородные дачи-поместья, дворцы в Подмосковье, Крыму и на Кавказе.

При строительстве Дома Правительства позаботились, конечно, и об охране высокопоставленных товарищей, которые будут в нем жить, а если говорить точнее, то об организации тщательной и непрерывной полицейской (виновата — МГБ-вской) слежки за ними. Большим и сложным хозяйством Дома управляла полувоенная организация, называвшаяся "комендатурой". Ее функции отнюдь не ограничивались заботами о содержании дома в чистоте и порядке, о ремонтах и т.п. Все знали, что "комендатура" — это орган МГБ и что она ведет слежку и наблюдение за всеми, живущими в доме, и их посетителями.

Помимо десятков шпиков в штатском, сновавших во всех дворах и на прилегающих улицах, в каждом подъезде круглосуточно дежурил вахтер, а "старший вахтер" по подъезду жил тут же в небольшой квартирке. Официально предполагалось, что эти вахтеры охраняют живущих в доме

и берегут их покой. Каждый приходящий к вам гость, например, должен был назвать свою фамилию вахтеру и сказать, к кому он идет. Вахтер звонил по телефону в соответствующую квартиру и почтительно докладывал, что к вам, мол, желает пройти товарищ такой-то. И только по получении разрешения он пропускал посетителя к лифту. Эта процедура давала вахтерам возможность непрерывно поставлять в комендатуру и через нее в МГБ точную информацию о том, кто, когда и на сколько времени к кому приходил. Записывались и передавались и сведения о том, кто, когда и на сколько времени уходил из дому. Выяснялось, какие существуют связи и каковы отношения между жильцами дома, кто с кем дружен. Собирались всевозможными способами, в частности через домашних работниц, всякие сплетни и сведения о личной жизни всех живущих в доме. Все мы жили, как под стеклянным колпаком, под непрерывным наблюдением и слежкой МГБ, которые прикрывались внешней подчеркнутой почтительностью. И все об этом знали, все принимали эту систему как нечто нормальное и должное.

В основном население этого дома составили старые члены партии и выдвинувшиеся во время революции ответственные партийные работники, жившие раньше в бывших гостиницах "Националь", "Метрополь", "Люкс", "Лоскутная" и других, превращенных в Дома Советов. Гостиничное житье им надоело, а к тому же гостиницы уже понадобились для заграничных гостей и туристов и для бесчисленных командированных работников

из провинции, приезжавших в Москву по действительным или выдуманым ими делам.

В Доме Правительства поселились, например, Шверник (председатель Центрального Совета Профессиональных Союзов), Сергей Гусев (Драбкин), о котором я уже писала, родной брат Лазаря Кагановича Михаил и родственники Кагановича старые большевики Привороцкие, Межлаук, Лозовский, позже Георгий Димитров и другие работники Коминтерна. Большинство квартир было занято ответственными работниками советского и партийного аппарата — министрами, членами коллегий министерств, ведущими работниками Центрального Комитета партии. Несколько квартир получили некоторые наиболее высокопоставленные военные — Тухачевский, Егоров, Корк и др. Предоставили здесь квартиры и родственникам Сталина, которых он не хотел держать в Кремле. Так поселились здесь Аллилуевы, Реденсы, Сванидзе. Часть квартир получили и старые члены партии, занимавшие более скромные посты, но состав жильцов Дома был исключительно партийным. Беспартийных я в нем почти не помню. Разве лишь что я и мой второй муж, да еще известный историк, академик Тарле, получивший там квартиру после войны, потому что он был консультантом Министерства Иностранных Дел и в его эрудиции очень нуждались.

Я поселилась в этом доме с моим первым мужем в 1931 г. и прожила в нем до конца 1947 г., когда я была арестована МГБ.

Сначала нам предоставили отдельную квартиру в этом доме, а после смерти мужа в 1932 г. меня

переселили в квартиру старого члена партии Александры Васильевны Савельевой. Я получила там одну небольшую комнату, а три другие занимала Савельева и ее взрослый сын — инженер. После того, как я в 1936 г. вышла вторично замуж, Савельева уступила мне еще одну маленькую, не нужную ей комнату в той же квартире, и в этих двух маленьких комнатах мы и жили вместе с моей матерью, переехавшей к нам во время войны, и маленьким ребенком. В Москве в то время такие жилищные условия для профессорской семьи считались исключительно благоприятными.

Со многими обитателями Дома Правительства я была довольно коротко знакома и, проживая в их среде столько лет, я могла воочию наблюдать все этапы морального разложения и деградации этой среды и особенно той "новой знати", которая сменила поколение старых большевиков после сталинских чисток 1937 — 1938 г.г. Моими наблюдениями над характерными чертами психологии и морали этих людей я и хочу поделиться с читателем.

Когда я теперь размышляю об этом, то мне вспоминается прежде всего, как доминанта, определяющая их поведение и мораль, случайность их карьеры и необеспеченность их положения в партии и в жизни. Обеспечивая своим прислужникам всяческие материальные блага, подкупавшие и разлагавшие эту среду, сталинская система позаботилась о том, чтобы никто не мог чувствовать себя независимым, твердо стоящим на ногах. Даже тогда, когда еще не висел над каждым дамок-

лов меч ареста и казни, уже позаботились о том, чтобы назначения на работу, выдвижения на высокие посты и снятие с этих постов носили совершенно произвольный характер, не находились ни в какой связи ни с профессиональной квалификацией работника, ни с его энергией и работоспособностью. Никто не должен был чувствовать себя защищенным от произвола свыше. Все должно было быть случайным и зависеть от благорасположения начальника, а в конечном счете от воли или каприза Сталина. Этим и создавалась та атмосфера сервилизма, беспринципности, готовности на все ради сохранения своего положения, которая была необходима Сталину и окружавшей его шайке из Центрального Комитета Коммунистической Партии СССР.

Вот несколько маленьких примеров того, как это делалось. Был такой ответственный работник Сулимов, человек почти без всякого образования. Готовили его к назначению на пост Народного Комиссара (Министра) Транспорта, но так как в проблемах транспорта он ничего не понимал, то мужу моему Шатуновскому, который во время эмиграции успел закончить институт инженеров путей сообщения в Швейцарии, было поручено подготовить Сулимова к его новой работе. Три раза в неделю по утрам Шатуновский внедрял азбуку транспортного дела в голову будущего министра. И вдруг, в один прекрасный день Сулимов позвонил нам и сказал, что занятия отменяются. Ночью ему позвонил Сталин и сказал: "Товарищ Сулимов! Транспортom ты заниматься не будешь. Мы тебя назначаем Председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР".

Вот и все. Впрочем, это высокое доверие "самого" не спасло Сулимова от печального конца: позже он был арестован и расстрелян.

Похожая история произошла с моим мужем. Математик и инженер-путеец по образованию, он по окончании гражданской войны работал в плановом управлении Наркомата (Министерства) Транспорта и был профессором математики в высших учебных заведениях. Ни к какой служебной или партийной карьере он никогда не стремился. И вдруг, совершенно неожиданно, нам позвонил глубокой ночью "сам" Сталин и сказал: "Товарищ Шатуновский! Мы вас назначаем заместителем наркома финансов". "Но, Иосиф Виссарионович, я ведь не финансист. Я — математик и путеец", — ответил с удивлением Шатуновский. "Ничего, ничего, — сказал Сталин, — я считаю, что вы с этой работой справитесь". Когда же Шатуновский снова категорически отказался от поста, к которому считал себя неподготовленным, то Сталин повесил трубку, и с тех пор Шатуновского никуда и никогда не выдвигали. Сталин не мог забыть, что коммунист отказался от высокого назначения, предложенного лично им.

В этих эпизодах есть еще одна любопытная черта: уверенность в том, что всякий коммунист, облеченный доверием начальства, может занимать любой пост, не имея к тому ни знаний, ни опыта, ни умения. Невольно вспоминается старый московский анекдот о том, что на вопрос высокого начальства, умеет ли подчиненный ему коммунист играть на скрипке, тот ответил, что он в жизни этого инструмента в руках не держал, но если

партия прикажет, то, конечно, сыграет не хуже всяких там Ойстрахов и прочих евреев.

Разжалования и снятия с работы были столь же случайны и произвольны, как выдвигения. Жил в Доме Правительства Иван Рудаков, "лесовик", как мы его называли, потому что он был заместителем министра лесов СССР. Была у него небольшая дачка в поселке Наркомата под Москвой. В одно воскресное утро, когда он вышел в свой сад, к нему подошел живший на соседней даче второй заместитель Наркома и сочувственно сказал: "Ты не волнуйся, товарищ Рудаков. Не переживай." — "А почему, собственно, я должен волноваться и переживать?" — спросил Рудаков. — "Да ты, видно, сегодня еще газеты не читал. На, возьми". И Рудаков прочел в "Известиях" маленькую заметку о том, что он снят со своего поста.

Такова была история "величия и падения" многих, почти всех советских сановников, и это было не случайностью, а продуманной системой. Каждый должен был жить в страхе и трепете. Каждый должен был постоянно ощущать свою полную зависимость от воли, вернее произвола, вышестоящих.

Спустя некоторое время Рудаков был назначен заместителем министра лесов Белорусской республики. Это было большим служебным понижением, но он был и тому рад. Работал он в Минске, а жена его оставалась в Москве и жила в их прежней квартире в Доме Правительства. По воскресеньям Рудаков часто приезжал к семье из

Минска. Как-то он позвонил среди недели и сказал, что приезжает на следующий день по вызову из Москвы. Жена его ушла утром на работу, оставив мужу завтрак, и до середины дня ждала его звонка. Когда он не позвонил, она взволновалась и поехала домой. Открыв дверь, она увидела своего мужа лежащим мертвым на кровати. В руке у него был зажат пузырек, по-видимому, с ядом. Она сейчас же вызвала врачей из Кремлевской больницы, тело забрали для вскрытия, пузырек исчез бесследно, а жене прислали официальное извещение о том, что муж ее умер от все того же спасительного "паралича сердца". Никто, однако, не сомневался в том, что он покончил с собой, поняв, что в Москву его вызывают, чтобы арестовать. Он был похоронен с подобающими по табелю о рангах почестями, и своей добровольной смертью он спас от ареста и лагерей жену и сына. Так поступали тогда многие, но не всем это удавалось.

Так, например, Ян Гамарник, первый заместитель Наркома обороны, начальник Политуправления Красной Армии, хоть и покончил с собой, но не спас своим самоубийством ни жену свою, ни дочь Вету, с которой я была знакома. Жена его погибла в лагерях, а судьба Веты поистине трагична. Она провела несколько лет в лагерях, затем была освобождена, вышла замуж, родила двух дочерей и жила с мужем и детьми в каком-то из Волжских городов. На беду свою она была необычайно красива, и к ней воспылал страстью родственник какого-то из провинциальных сатрапов. Не знаю уж какими методами, но ее на-

сильно заставили развестись с любимым и любящим мужем и выйти замуж за этого высокопоставленного прохвоста. Очевидно, живя с нелюбимым мужем, она вела себя не так, как нужно, а, быть может, навязанный ей муж просто охладел к ней, но в Советском Союзе такие ситуации разрешаются просто. Вету вторично арестовали и отправили в Сибирь, а дети ее остались у отца.

Только после смерти Сталина и ареста Бериа она сумела, в лохмотьях, в каком-то рваном ватнике, изможденная и страшная, пробраться в Москву. Здесь моя добрая приятельница, старая большевичка Евгения Левитас помогла ей пробиться к Микояну. Это было время хрущевской "оттепели", и Микоян — нужно отдать ему справедливость — много помогал жертвам сталинского террора, правда, главным образом, детям своих старых партийных друзей. Микоян при Вете позвонил секретарю обкома, который насильно выдал Вету замуж за своего родственника, приказал ему немедленно оформить развод и вернуть Вете ее детей и их отца. Он щедро помог Вете деньгами из своего кармана, помог ей получить квартиру в Москве и как-то наладить жизнь этой пострадавшей семьи.

Таких и еще более страшных трагедий за время советской власти происходило бесчисленное множество, но немногие из них окончились такой относительно благополучной развязкой.

Но вернемся к Дому Правительства и обитавшим в нем старым коммунистам. Большинство

их были старыми членами партии с большим до-
революционным стажем. Другие пришли в пар-
тию с революцией и выдвинулись во время гра-
жданской войны. Многие из них еще занимали
высокие, но отнюдь не решающие посты в госу-
дарственном и партийном аппарате, а часть жила
старыми заслугами. Тогда еще старых больше-
виков бережно охраняли как "иконы". Они ну-
жны были, чтобы создавать видимость "преем-
ственности поколений" в партии.

В течение полутора десятилетий проводилась
целеустремленная политика разложения и демо-
рализации этой среды, вытравления в ней всех
остатков ее бывлой принципиальности и идейно-
сти. С одной стороны, этих людей подкупали и
разлагали предоставлением им бесчисленных
подачек, благ и привилегий. С другой стороны,
им непрерывно давали чувствовать всю эфемер-
ность их благополучия, их полную зависимость
от произвола высшего начальства. Этим дости-
гался разрыв старых дружеских связей, "атоми-
зация" среды старых большевиков, их глубокое
и полное отчуждение от страны и ее проблем.

Параллельно с этим, начиная со знаменитого
"Ленинского набора" 1925 года, когда двери в
партию широко распахнулись перед всяким
сбродом, шел процесс разжижения старых кад-
ров, "сталинизации" партии. В партию привле-
кались и на высокие посты выдвигались люди
нового воспитания и совершенно иного мораль-
ного, культурного и политического склада.
"Связь времен" между поколениями была ра-
зорвана, и хоть новые и клялись на каждом ша-

гу именем Ленина и верностью старым заветам, но в глубине души им было наплевать и на то и на другое. Я не хочу сказать, что в новом, сталинском, поколении коммунистов не было ни одного человека идейного и по-своему честного. Вероятно, горсточка людей, искренне веривших в лозунги партии, имелась. Имелось и некоторое количество тупиц, людей полностью оглушенных советской пропагандой и некритически поверивших в весь тот вздор, который эта монополярная пропаганда вбивает в сознание советских людей от детского сада до гробовой доски. Но основную массу новых людей в партии составили и составляют "советские Растиньяки", жадные и беспринципные хищники и карьеристы, стремящиеся лишь к своему материальному преуспеянию и пусть к небольшой, но такой сладкой власти над нижестоящими.

Эти люди заполнили все посты в советской структуре. Они стали председателями колхозов, директорами заводов, работниками районных и областных комитетов партии, чиновниками государственного аппарата. Они заняли все командные и административные посты в науке, искусстве, литературе. Бездарные, они сосали все живые соки страны. Этим и деморализовывать не нужно было. Они твердо и неразрывно связали свое благополучие и свою карьеру со сталинской системой и в борьбе за свое продвижение были готовы на все, на любую подлость "по приказу партии и лично товарища Сталина".

Старая гвардия, еще сохранявшая какие-то остатки былой идейности и принципиальности, все время ощущала на себе давление этой неудержимо прущей толпы новых людей, и это тоже деморализовало ее и ослабляло ее и без того небольшую способность сопротивляться становлению сталинской диктатуры.

Живя в Доме Правительства, я могла воочию наблюдать этот процесс перерождения партии. Я видела этих людей в "минуты роковые" их жизни: в годы Великого Голода, когда они предали и продали за чечевичную похлебку свой народ, и в годы Большого Террора, когда чудовище, созданное при их участии, начало пожирать их самих. Я могла видеть и кульминацию этого процесса в послевоенные годы, когда сталинское племя уже окончательно утвердилось у власти. Думаю, что хрущевцы и, особенно, брежневцы не лучше.

Годы великого голода

В 1932 г. на Советский Союз обрушился страшный голод, какого Россия не знала за всю свою многовековую и многострадальную историю. Даже роясь в архивах мировой истории, Британская Энциклопедия сумела найти в них лишь один случай голода, превзошедшего по размерам русскую катастрофу: голод в Китае в 1887-1888 году.

Слово "обрушился", которое я употребила, неточно, потому что в отличие от всех прежних этот голод не был следствием каких-нибудь природных несчастий -- засух, наводнений, налетов саранчи и т. п. Нет, этот унесший миллионы жертв голод не "обрушился" на страну, а был сознательно, целеустремленно создан по плану и приказу Сталина той самой Коммунистической партией Советского Союза, которая всюду и всегда клянется, будто единственной ее заботой является благо трудящихся. Это и есть самое чудовищное в русском голоде 1932 года, то, чего разум принять не может и от чего сердце замирает в ужасе.

Много лет спустя, в разговоре с Черчиллем, Сталин сам признал, что для осуществления его плана сплошной коллективизации пришлось расправиться с 10 миллионами "кулаков".

Многие из них были убиты, а остальные высланы в Сибирь, где ничто не было подготовлено к их приему. В сибирские морозы их расселяли в землянках и бараках, оставляли без продовольствия, без скота, без средств производства. Неудивительно, что большая часть их погибла, а позже три миллиона этих переселенцев были загнаны в лагеря, где почти все они тоже нашли свою смерть.

С наименьшей жестокостью была осуществлена и ликвидация НЭП'а в городе. Десятки, а может быть, сотни тысяч людей, искренне поверивших в то, что "НЭП — это всерьез и надолго", занимавшихся деятельностью легальной, государством разрешенной и даже поощрявшейся, были не только разорены поголовно. Большая часть их была арестована, и из них всякими методами, включая пытки, пытались "выбить" якобы скрытые ими ценности. А если таких не было, то тем хуже. Кто узнает когда-нибудь, сколько их погибло под пытками или было расстреляно?

И кто знает, как скоро постигнет та же участь всех этих наивных дельцов на Западе — директоров и менеджеров крупнейших фирм, которые строят для Советского Союза заводы и так бездумно щедро передают ему новую технологию, и банкиров, которые финансируют эти "выгодные" сделки? Вспомнят ли они об этом, корчась в камерах пыток европейских "чрезвычайных комиссий", или в ночи, когда их поведут на расстрел? И утешат ли их тогда воспоминания о жирных барышах, которые они наживали на этих "взаимовыгодных" сделках?

Горько говорить это, но, по-видимому, из всех бесчисленных ложных предсказаний Маркса — Ленина — Сталина сбываются только слова Ленина: "Буржуазия продаст нам веревку, на которой мы ее повесим!"

Несмотря на все ужасы коллективизации, урожай 1932 г., подготовленный в предыдущем году, оказался всего на 12% ниже среднего. Это еще не катастрофа. И тогда, чтобы окончательно сломить волю крестьян и их стремление к самостоятельности, было пущено в ход самое страшное оружие: был сознательно, целеустремленно организован и создан Великий Голод. С этой целью обязательные поставки продуктов крестьянами были повышены почти на половину, хотя было каждому ясно, что разоренная деревня не может выполнить эти требования. Руками тех же чекистов и подонков из "комитетов бедноты" было проведено повсеместное жесточайшее изъятие у крестьян всех запасов продовольствия. Грабили и отбирали подчистую, до последнего зернышка, какое удавалось найти. И в то же время отправили за границу 5 миллионов тонн зерна в 1930-1931 г. и 1,75 миллиона тонн в 1932-1933 г., когда миллионы крестьян уже умирали в Союзе от голода. А до этого, в предыдущие годы, экспорт зерна не превышал 200000 тонн. Того зерна, которое специально было вывезено в год Великого Голода, хватило бы, чтобы спасти этих людей от голодной смерти. Но именно этого не хотела Партия. Зерно было вывезено именно для того, чтобы создать голод.

По очень осторожному сопоставлению разных оценок, произведенному Конквестом, число жертв этого голода достигает не менее 5-6 миллионов человек — детей, женщин, мужчин. Из них не менее 3-3,5 миллионов приходится на Украину, благодатную Украину, житницу России, где земля такая, что, кажется, воткни в нее сухую палку, и она расцветет розами. Было ли в истории преступление, равное этому?

Однако, создав в стране чудовищный голод, погубив не менее 15 миллионов человек, Сталин позаботился о том, чтобы это никак не отразилось на благополучии тех слоев населения, на которые он опирался, на уровне жизни партийных чиновников и бесчисленных коммунистов, присосавшихся уже в это время ко всем государственным и производственным "теплым местечкам". Понемногу подкармливалась и верхушка интеллигенции — специалисты, без которых никак нельзя было обойтись, и, особенно, писатели и журналисты, "верой и правдой" служившие советской пропаганде.

В эти годы необычайно расширилась и укрепилась та сеть всевозможных "закрытых" распределителей, санаториев, швейных и сапожных мастерских, которая начала складываться еще при Ленине. Началось строительство дворцов-поместий для "вождей" и "собственных загородных дач" для коммунистов помельче. Все партийные и советские сколько-нибудь ответственные работники и часть интеллигенции снабжались щедро и изобильно по этим скрытым от народа каналам. Это "закрытое" снаб-

жение строилось по строго иерархическому принципу, разработанному очень тщательно и детально. "Каждому свое": кто стоял повыше на служебной лестнице, тот и получал побольше. Не считая, впрочем, всяких воров и жуликов.

Население Дома Правительства составляла партийная элита, и, живя в этом доме, я имела возможность своими глазами видеть, как жила она в годы Великого Голода и как она реагировала на события, происходившие в стране. Для них эти годы стали годами изобилия и благоденствия. Если бы Иосиф, предсказавший годы голода египетскому фараону, увидел свой вещий сон в Советском Союзе, то, кроме "семи коров тощих", он должен был бы увидеть и некоего весьма и весьма жирного тельца для партийной элиты. Даже я, всего лишь вдова старого большевика, занимавшего не очень высокие посты в новой иерархии, получала "закрытое" снабжение, позволяющее мне жить безбедно и даже понемногу помогать родителям, жившим в Одессе, и кое-кому из друзей. Что уж говорить об окружавших меня людях, которые занимали действительно высокие посты. Эти, по пословице, "катались, как сыр в масле". В годы, когда страна задыхалась от голода и миллионы людей умирали от отсутствия куска черного хлеба и картофеля, в "пайки" правителей входили в изобилии самые изысканные деликатесы. Самым высокопоставленным эти "пайки" доставлялись на дом в запломбированных цинковых ящиках, с сертификатами, подтверждающими их полную доброкачественность. Сколько раз видела я эти цинковые ящики, выносившиеся из закрытых грузовиков.

Справедливости ради нужно отметить, однако, что тогда еще люди из этой среды не спекулировали получаемыми ими продуктами на черном рынке, не наживали капиталов на голоде. Они жили в полном изобилии сами, делились излишками с родней, понемногу помогали нашим вахтерам и домовым рабочим, но продуктов они не продавали. Безудержная спекуляция продуктами, жажда безграничной наживы пришли позже, во время войны и после нее, когда к власти пришло уже новое племя, воспитанное и выращенное сталинским режимом в партии и стране.

Как же реагировали люди из Дома Правительства и высокопоставленные коммунисты, с которыми мне приходилось встречаться, на доходившие из деревни вести о страшном голоде, о чудовищных зверствах, о гибели многих миллионов людей? Да никак не реагировали. Жили в покое и достатке и принимали все происходящее как должное и закономерное. Разве что иногда, при слишком уж ужасных вестях, сокрушенно покачивали головой и высказывали в очень тесном и узком кругу свои сожаления о допущенных "перегибах".

После смерти Сталина и разоблачения "культ личности", в период "оттепели", многие из тех, кто выжил, говорили, что, дескать, тогда они не знали обо всем, что делается в стране. Ложь это. Быть может, тогда точные данные о числе жертв и размерах катастрофы были, действительно, известны немногим, но в целом о том, что происходит в стране, люди этой среды знали, не могли — да

и не смели — не знать. Но спокойнее было утаивать эти сведения не только от окружающих, но и от самих себя, вытеснять их из сознания и прятать глубоко на дне души, успокаивая остатки совести обычными общими местами и плоскими благоглупостями о том, что, дескать, это необходимо во имя построения бесклассового социалистического общества, о том, что "лес рубят — щепки летят" и т.д.

Даже Красиков, один из лучших, наиболее идейных и честных старых большевиков, который переживал все происходящее в стране тяжело и мучительно, никогда не высказывал вслух — по крайней мере, при мне — одолевавших и терзавших его сомнений и тревог. Вернувшись в Кремль с работы и пообедав в Кремлевской столовой в кругу старых партийных друзей, делившихся с ним информацией об ужасах, творившихся в стране, он приходил домой мрачный и озабоченный, уходил к себе в кабинет и запирал за собой дверь. Только к вечеру я по просьбе Наташи входила к нему и начинала ему рассказывать о всех событиях моей жизни в Институте и на заводе. Он слушал эти "вести с далекой планеты" с любопытством и интересом, немного успокаивался, и тогда мы могли позвать его к ужину. На открытый протест он решился только в 1938 г., когда сталинский террор обрушился на всю его среду, на "старую гвардию", которая была почти поголовно уничтожена. Этот протест стоил ему жизни, о чем я расскажу дальше, но в годы Великого Голода, в годы массового истребления крестьянства и он не поднял голоса протеста.

Нужно сказать, что и беспартийные интеллигенты — ученые, врачи, инженеры, учителя, государственные чиновники — вели себя в эти годы немногим лучше. Они тоже были относительно обеспечены, с голоду не умирали и принимали все происходящее с сокрушением, но без каких бы то ни было попыток протеста. Смущало их разве слишком уж большое число жертв. Как будто дело в числе, как будто голодная смерть одного ребенка, трагедия одной семьи может быть оправдана абстракциями мифического "строительства социализма" или иными "высокими целями".

А уж о писательской и журналистской среде и говорить нечего. К этому времени подавляющее большинство людей этой среды уже стали "проданными перьями", "проститутками духа". Эти и тогда и позже готовы были восхвалять все, что прикажут, скрывать любую правду и по приказу хозяина травить того, на кого он укажет. Лишь бы за это хорошо платили, а платить большевики умеют щедро.

Но не будем говорить об этой мрази — о купленных и продавшихся. Попытаемся разобраться в психологии всех "честных", всех старых "идейных" большевиков. В чем причина их поразительного равнодушия к той катастрофе, которую их партия сознательно обрушила на народ. Конечно, немалую роль в их пассивности сыграло то, что к этому времени их среда была уже глубоко деморализована и коррумпирована. Постепенно налаживался устойчивый и комфортабельный быт. Сохранялись высокие посты и связанная с ними

материальная обеспеченность. Голод не только не затронул их лично, но даже принес им некоторое изобилие. Люди обрастали жирком. Да и возраст сказывался. Люди ленинского поколения уже подходили к старости, а те, кто выдвинулся в годы революции, уже входили в зрелый возраст. Юношеский идеализм дореволюционной борьбы и пафос революции испарились и утасли. Все меньше было готовности "лезть на рожон" и ставить под удар свое благополучие во имя велений совести.

Все это так, но было бы ошибкой думать, что в этом единственная или даже самая главная причина того, что партия и интеллигенция приняли с такой пассивностью все ужасы коллективизации. Предельный и полный цинизм, позволяющий человеку постоянно ясно осознавать свою полную аморальность и своекорыстность — это тоже достояние немногих. Подавляющему большинству людей непереносно всю жизнь ощущать себя предателями, трусами, мерзавцами, даже если они таковы на самом деле. Обычный человек не может сознательно обманывать только всех окружающих его, ему нужен и самообман. В этом секрет всех идеологий, которые дают человеку возможность убедить себя в том, что все гадости, которые он делает, и все сделки с совестью, на которые он идет, оправданы какими-то высшими целями. Сталин и Гитлер хорошо понимали этот смысл и назначение политических идеологий, которые снимают с человека чувство личной ответственности за свои поступки.

Особенно легко было найти такое самооправдание старым большевикам, воспитанным на принципах марксизма и ленинизма. Ведь по существу у них не было, да и не могло быть никаких принципиальных, идейных позиций, с которых они могли бы протестовать против ужасов сталинской "коллективизации" и даже против искусственного создания партией голода, унесшего миллионы жертв. Цели, во имя которых все это якобы делалось, — это были те цели, к которым они стремились всю свою жизнь. Не было во всем, что делалось, ничего, что противоречило бы основам большевистской идеологии.

Всю свою жизнь они провели в отрыве от реальной жизни и живого человека, прожили в атмосфере абстрактных марксистско-ленинских идей "классовой борьбы". Они были проникнуты мессианистским ожиданием всеспасающей "социальной революции", ради торжества которой оправданы любые жертвы. Во имя чего же могли бы они восстать против политики, в которой реализовались все их абстрактные схемы и построения?

А жестокости, бессудные расправы, океаны пролитой крови, горе и страдания миллионов людей? Что же, конечно, некоторых эта реальность слегка шокировала, но ведь признание и оправдание революционного насилия, отрицание самой идеи общечеловеческой морали и гуманности всегда составляли основу коммунистического мировоззрения. Именно поэтому, когда Ленин сейчас же после революции создал Чрезвычайную

Комиссию — аппарат массового террора и бессудных расправ, — то это было принято и одобрено всей партией и всеми сочувствующими ей. Это было оправдано "революционной необходимостью". "Железный Феликс" Дзержинский, председатель ЧК, стал в глазах коммунистов легендарной фигурой истинного революционера, а слово "чекист" и по сегодняшний день звучит почетно в ушах членов партии.

Даже такие потрясающие зверства, как массовые казни "заложников", бессудные расстрелы офицеров в Крыму или позорнейший Ленинградский процесс священников, никогда не вызывали в партии осуждения и протеста. Не взволновало коммунистов и истребление старой интеллигенции. Ни убийство большого поэта Гумилева, ни такие явно фальсифицированные и позорные процессы, как "Шахтинское дело" или "процесс Промпартии", направленные против старой интеллигенции, никогда не волновали коммунистов всех уровней. Интеллигенция также включалась в категорию "классовых врагов", для уничтожения которых все средства хороши и приемлемы. С каких же позиций могли бы они протестовать против сталинской коллективизации? Сделать это означало бы для них отказаться от тех идей, которыми они жили всю свою жизнь и во имя которых старые большевики приносили тяжелые жертвы. Кто был способен на это? Почти никто.

В их неспособности противиться Сталину была и еще одна, быть может, самая глубокая основа. Всю их жизнь "Партия" была их высшей святыней, фетишем. Партия и ее руководство всегда

были мудры и непогрешимы. Неподчинение партийным решениям и тем более борьба против них всегда были в глазах каждого коммуниста величайшим святотатством. Но в это время партия — точнее, партийный аппарат — уже была почти полностью в руках Сталина. Все, что делалось, делалось именем партии и было санкционировано решениями высших партийных органов. Восстать против них означало порвать с партией, которой была отдана вся сознательная жизнь. Для подавляющего большинства, даже для тех, кто осознал безумие сталинской политики, это было невозможно. А те, очень немногие, кто был способен на такой разрыв, пускали себе пулю в лоб или эмигрировали за границу, если это удавалось.

По всем этим причинам вся партийная элита, как и партийные массы, молчала и даже поддерживала террор и бессудные казни, пока аппарат насилия был направлен против "враждебных классов" и даже против тех самых рабочих и крестьян, ради счастья которых, якобы, была совершена революция. Но когда созданный ими аппарат насилия обратился против них самих, когда началось массовое истребление старых партийных кадров, они заговорили об этом — в своей доверенной среде, понятно — с гневом и возмущением.

Час расплаты

До 1937 г. круги той партийной элиты, которую представляли обитатели Дома Правительства, жили в достатке и душевном покое, не задумываясь над тем, как хрупко и ненадежно их благополучие. Они верили и убеждали себя в том, что все идет хорошо, что Сталин ведет страну "по Ленинскому пути", быть может с некоторыми досадными, но исторически неизбежными перегибами. Они видели, конечно, что Сталин все больше берет в свои руки партийный аппарат в центре и на местах, что он подчиняет всю жизнь страны и партии чудовищному аппарату насилия, подконтрольному ему одному, видели все это и, тем не менее, все, за исключением небольших групп оппозиционеров, голосовали за него и поддерживали его.

Конечно, было несколько неприятно и тревожно то, что карьера каждого зависела полностью от произвола Сталина, что старые кадры потихоньку, но систематически заменялись ставленниками Сталина, но все же до поры до времени партийная элита чувствовала себя защищенной хотя бы от угрозы физического истребления. Ведь Сталин еще не мог добиться смертной казни даже для своих злейших врагов — Троцкого и руководителей открыто оппозиционных групп. Сегодня еще можно было жить довольно комфортабельно,

а о завтрашнем дне они не думали. Давно ведь было сказано, что боги лишают разума того, кого они хотят погубить.

Так же беспечны и беззаботны были те, чьими руками Сталин осуществил кровавое безумие своей "коллективизации", — все эти бесчисленные секретари и члены областных и районных комитетов партии, низовые партийные работники, чекисты. Эти люди связали себя со Сталиным и его режимом страшной порукой пролитой крови, они служили Сталину верно и преданно, возлагали на него все свои надежды и честолюбивые планы и наивно думали, что это защищает их от расправы. Они не подозревали о том, что следующая волна сталинского террора сметет с лица земли их самих. Поистине,

"Птичка весело шагает по тропинке бедствий,
Не предвидя от сего никаких последствий."

А между тем час расплаты близился, и огненные знаки на стене проступали все явственнее. Читатель помнит еще, быть может, имена тех трех членов Политбюро, которые до поры до времени не давали Сталину возможности физически истребить всю оппозицию и всю ту "старую гвардию", которую он ненавидел. Это были Киров, Куйбышев, Орджоникидзе, — те трое, которых назвал мне перед своей смертью мой муж Шатуновский.

1 декабря 1934 г. Сталин руками Николаева убивает Кирова; 26 января 1935 г. очень "удачно", как раз после первого процесса Зиновьева и Каменева, умирает Куйбышев, и есть все основания полагать, что и он был убит по приказу Сталина; 18 февраля 1936 г. Сталин осуществляет

убийство Орджоникидзе. Рухнула тонкая стенка, ограждавшая старую гвардию от расправы, но и это не породило у нее тревоги или желания что-то активно предпринять. Люди из Дома Правительства и Кремля оставались пассивными. Их воля давно была сломлена, и они поверили (или сделали вид, что поверили) и в то, что Киров убит оппозицией, и в то, что Куйбышев и Орджоникидзе умерли естественной смертью.

Даже тогда, когда, умело использовав убийство Кирова, Сталин необычайно расширил полномочия и власть НКВД и полностью подчинил себе этот аппарат насилия, когда в обстановке шока, охватившего страну и партию, он жесточайшим образом разгромил всю ленинградскую партийную организацию и заменил в ней всех старых работников своими выкормышами и ставленниками, когда, свалив вину за убийство Кирова на "левую" оппозицию, он провел один за другим два процесса Зиновьева, Каменева и группы их сторонников (январь 1935 г. и август 1936 г.) и добился на втором процессе смертной казни для всей этой группы виднейших руководителей партии, старых соратников и друзей Ленина, даже тогда Дом Правительства и вся среда старой партийной элиты оставались совершенно пассивными. Устранение Сталина законным путем, на выборах, было уже совершенно невозможно, а самая мысль об его насильственном устранении или убийстве была для них кощунственной и еретической. Ведь ничто в принципах и основах мировоззрения не отделяло их от Сталина, а покуситься на него означало идти против партии —

священной и непогрешимой партии, законным вождем которой был Сталин — этого они не могли сделать. Как свиньи, в которых Христос разрешил вселиться бесам, они обреченно устремились к обрыву, где их ждала смерть.

Гром грянул весной 1937 г., после победы Сталина на февральско-мартовском пленуме Центрального Комитета. Первый удар обрушился, как и следовало ожидать, на группу высших командиров Красной Армии. Почти все высшие военачальники были не только членами и кандидатами Центрального Комитета партии. Они имели в своих руках армию — единственную организованную силу в стране. Если кто и мог стать на пути Сталина к диктатуре, то только они. И вот 12 июня 1937 г. на страницах "Правды" публикуется следующее официальное сообщение: "Вчера, 12 сего июня, приведен в исполнение приговор Специального судебного присутствия Верховного Суда СССР в отношении осужденных к высшей мере уголовного наказания — расстрелу: Тухачевского, М.Н., Якира И.Э., Уборевича И.П., Корка А.И., Эйдемана Р.П., Фельдмана Б.М., Примакова В.М. и Путны В.К."

Некоторые из казненных 12 июня высших командиров Красной Армии, в том числе Тухачевский и Корг, жили в "Доме Правительства", о чем граждан Советского Союза извещают торжественные мемориальные доски, укрепленные на фасаде этого дома после смерти Сталина и посмертной реабилитации его жертв. Недаром горькая советская шутка гласит, что по Сталинской конституции СССР все советские граждане имеют

право "на труд, на отдых, на образование и на посмертную реабилитацию". Вот уж действительно, черный юмор!

Я была знакома с их женами — с Катей Корк и Ниной Тухачевской. Корка арестовали в нашем Доме одним из первых, 11 мая. Через месяц он был казнен. Техника и процедура ареста еще не были тогда отработаны столь тщательно и детально, как позже, и, когда Корка уводили, Кате удалось как-то вырваться из лап чекистов. Она бежала за мужем и громко кричала: "Никогда не поверю! Не забудь, я никогда ничему плохому о тебе не поверю!". Позже, когда техника арестов была усовершенствована, уже невозможно было крикнуть мужу или отцу последнее слово прощания и утешения. Бедная, бедная Катя Корк! Несколько позже и она была арестована как "жена врага народа" и расстреляна. Ей припомнили, по видимому, верность мужу.

С Ниной Тухачевской я познакомилась на курсах английского языка, которые организовал в нашем Доме его "женский актив". Она хорошо знала французский язык, но не знала английского, а этот язык ей был очень нужен в связи с официальным положением Тухачевского и особенно потому, что в апреле он был назначен советским представителем на церемонии коронования Георга VI-го и она должна была сопровождать мужа в Лондон. Поездка не состоялась. Третьего мая документы Тухачевского были посланы в Британское посольство, а на следующий день посольство было извещено о том, что Тухачевский не может поехать "по состоянию здоровья".

Но тогда все это еще было в будущем, и Нина занималась английским языком очень усердно. Однако как-то, не помню уж по каким причинам, она вынуждена была пропустить несколько уроков, и наша учительница попросила меня помочь ей догнать группу. Нина несколько раз приходила ко мне, мы занимались вместе английским языком и хорошо познакомились. Была она очень хорошенькой, изящной, мягкой женщиной. Она была интеллигентна, очень хорошо воспитана, происходила из хорошей, отнюдь не пролетарской семьи. В личной жизни она была глубоко несчастна. Все знали, что, кроме официальной семьи, у Тухачевского есть другая, тайная семья, что от его второй, неофициальной жены у него есть дочь того же возраста, что и дочь Нины. Обеих этих девочек звали одинаково. Обе были Светланами.

Несчастливая Нина Тухачевская, конечно, тоже была арестована, а Светлана попала сначала в специальный детский дом для детей "врагов народа", а затем, в 17 лет, была арестована и прошла через ад сталинских лагерей. Так расплатились Сталин и КПСС с человеком, который сыграл важнейшую роль в их победе в Гражданской войне.

* * *

Уничтожив одним ударом верховное командование Красной Армии и обескровив ее, Сталин получил, наконец, возможность осуществить давно задуманный план физического уничтожения всех старых кадров партии, всех, кто сохранил

еще следы какой-то идейности и минимальную способность самостоятельного мышления. Годы 1937 — 1939 и стали годами сталинского "Большого Террора". Население Дома Правительства составляли почти сплошь представители этой старой партийной гвардии, и по нашему Дому волна террора прокатилась, как сокрушительная эпидемия. Страшные итоги и сверхчеловеческая жестокость этого террора идеологически и идейно подготовленного всей историей марксистско-ленинской коммунистической партии и осуществленного Сталиным, известны. Я не буду повторять тех историков и мемуаристов, кто поведал миру об этих ужасах, а расскажу лишь о том, что я видела сама, живя в эти страшные годы в Доме Правительства.

Вот что произошло, например, только на 7-м подъезде этого дома, где мы с мужем жили в квартире 145 на 9-м этаже. Напротив нас на том же этаже жил Алексей Стецкий — член Организационного Бюро Центрального Комитета Партии и начальник его Отдела культуры и пропаганды (характерно, что эти два взаимоисключающих понятия сливаются в глазах большевиков в одно целое — "культпроп"). На 10 этаже, над ними, жила семья старых большевиков Беленьких, людей с очень большим дореволюционным стажем, но сейчас уже не занимавших никаких ответственных постов. Напротив них жил ответственный работник центрального аппарата партии Назаретян. На 8-м этаже жил известный журналист Михаил Кольцов, один из руководителей советских войск в Испании. Остальных я упоминать не буду, но

все они принадлежали к тому же слою старых партийных работников. Всего на нашем подъезде было 22 квартиры, но в период Большого Террора уцелели только обитатели четырех квартир, остальные были арестованы и почти все погибли под пытками или в лагерях. Да и жильцов этих "благополучных" четырех квартир постигла та же судьба, но только десятилетием позже. Во вторую волну сталинского террора были арестованы проф. В. В. Парин, один из руководителей Академии Медицинских Наук СССР (кв.148), сын и дочь старых большевиков Беленьких (кв. 147) и мы с мужем (кв. 145). То же происходило и на других подъездах нашего дома. Дом пустел, как во время чумы. Но "природа не терпит пустоты", и опустошенные квартиры начали заселяться новыми людьми, людьми сталинского племени и воспитания. О нравах и обычаях этого, уже вполне безыдейного нового правящего класса, о его полной моральной деградации и примитивном культурном уровне будет мой следующий рассказ.

Аресты происходили еженощно, а иногда и по несколько раз в одну ночь. Всем было ясно, что арестовывают не за какие-нибудь вины или проступки, но что идет сознательное и систематическое истребление всей среды старых большевиков и людей, воспитанных до прихода к власти Сталина. Никто, как бы чиста ни была его совесть перед партией, как бы безупречно ни было его прошлое, не чувствовал себя в безопасности. И так как никто не знал, когда придет его час, то все жили в страшном нервном напряжении, как

приговоренные к смерти и не знающие, когда их поведут на казнь. По ночам не спали и с тревогой прислушивались к шуму каждого подъезжающего автомобиля, к каждому шороху на лестнице.

Вот что случилось в нашей квартире летом 1937 г. Как я упоминала уже, две комнаты в этой квартире занимали мы с мужем, а в двух других жила Александра Васильевна Савельева и ее взрослый сын — инженер. За годы совместной жизни мы с ней тесно сдружились и были друг к другу очень привязаны.

Савельева была старым членом партии, с большим дореволюционным стажем и безупречной партийной биографией, в которой было все — аресты, суды, ссылки, побеги. Она всегда строго придерживалась ортодоксальной "генеральной линии партии". Ни в каких оппозиционных группировках она никогда не состояла. Больших политических постов она не занимала — была начальником отдела переводной литературы в Государственном Издательстве Художественной Литературы. Мужем ее, с которым она разошлась много лет тому назад, был видный коммунист, академик Савельев, редактор первого издания сочинений Ленина. К тому же, была она родной сестрой того Федора Гусарова, военного врача, служившего в Варшаве, через которого, как я упоминала, осуществлялась нелегальная связь большевистского центра за границей с партийными организациями в России. Казалось бы, чего ей бояться?

И все же. Как-то летом 1937 г., часа в два ночи в нашей квартире раздался сильный звонок. Муж

мой, которого Бог наградил богатырским сном, ничего не услышал, а я накинула на себя халат и с трепетом пошла открывать дверь. За себя и за мужа я не волновалась. Мы были беспартийными интеллигентами, специалистами, а таких в те годы еще не очень громили. Наша очередь пришла позже. Но Савельева?

Я вышла в коридор и увидела ее. Она стояла смертельно бледная, в полуобморочном состоянии, держась за стену, чтобы не упасть. "Идите к себе. Я сама открою дверь", — сказала я. "Кто там?" — "Откройте, здесь дежурный комендант". Ну, тут уж все стало ясно. Арестовывать всегда приходили в сопровождении дежурного коменданта дома. Выхода не было, и дрожащими руками я открыла дверь. За ней, действительно, стоял дежурный комендант и какой-то рабочий, но гебистов не было. "Извините, — сказал вежливо комендант, — не залило ли водой вашу ванную комнату?"

Мы открыли дверь и увидели, что и вправду наша ванная и кухня залиты водой. Какое счастье! Да будь это даже и пожар, мы и то были бы счастливы. Оказалось, что в квартире над нами воду по каким-то причинам на время выключили, а хозяева уехали на дачу, не закрыв краны в ванной. Потом воду включили, она потекла, переполнила ванну и начала просачиваться вниз до четвертого этажа. Там жильцы всполошились и позвонили в комендатуру, которая и начала проверять все последствия этой аварии. Комендант предложил прислать нам уборщицу, чтобы помочь привести квартиру в порядок, но я отказалась от ее

услуг, чтобы никто не видел, в каком состоянии была Савельева. Мы с ней вдвоем сами принялись за уборку. А муж мой все спал, и всю эту тревогу пропустил.

Кончили мы нашу работу уже под утро и решили не ложиться спать, а посидеть на кухне, выпить кофе и успокоиться. "Дорогая, — спросила я ее, — почему вы так испугались? Я видела, что на вас лица нет. Ведь вы никогда ни в какой оппозиции не состояли". "Ах,—ответила она,—ведь я старый большевик. Неужели вы не понимаете, что этого в наше время достаточно?"

Смешной случай, не правда ли? Но вдумайтесь в то, что означает для человека, отдавшего всю свою жизнь партии, признать, что именно это и ставит его под удар, что именно это и означает, что он может быть в любую минуту арестован и без суда казнен или сослан в лагерь, что почти одно и то же. Вот когда поняли они, что означает юстиция, основанная на ленинской "революционной сознательности", а не на законе. Вернее, знали они это и раньше, но не беспокоились, пока дубинка не ударила по ним самим.

Как это происходило? Как дать почувствовать читателю, что такое арест и обыск в Советском Союзе? Обычно те, кто арестовывает, и те, кто остается, чтобы произвести обыск, приезжают вместе. Ночной звонок. Вы открываете, и в квартиру вваливаются несколько человек гебистов в сопровождении дежурного коменданта дома и дремлющих, забитых "понятых" — свидетелей. "Вы такой-то?" Вам предъявляют ордер на арест, велят одеться, разрешают взять с собой немного

белья и платья, небольшую сумму денег. Вас усаживают с двумя офицерами в хорошую, комфортабельную машину, ожидающую у подъезда, и все. Вы исчезли, вас больше нет ни для кого. Ни родные ни адвокат, никто не навестит вас ни во время следствия ни после него. Если ваше "преступление" не слишком серьезно, то вы попадете в лагерь и, быть может, ваши родные хоть узнают, где вы, и смогут посылать вам изредка посылки. Ну, а если "дело" чуть посерьезнее или следователь попался вам чуть посерьезнее, то вы как в воду канули: никто ничего о вас никогда не узнает. Ваша мать, жена, дети не будут даже знать, живы ли вы, да и вы сами тоже ничего не узнаете о них долгие годы, а может быть и никогда.

* * *

Страх, пронизывавший всю жизнь страны в эти годы, был так силен, что часто от семей арестованных отворачивались даже ближайшие родственники. А уж о знакомых, товарищах, друзьях и говорить нечего. Ведь каждый арестованный — даже еще и не осужденный — немедленно объявлялся "врагом народа", и каждый боялся, что знакомство с ним или сочувствие к его семье сделают завтра "врагом народа" и его самого.

Жены арестованных старались не выходить во двор, опасаясь, что ближайшие друзья отвернутся от них и пройдут мимо, не поздоровавшись. И в большинстве случаев у них были все основания опасаться этого, ибо животный страх владел

всеми в этом счастливом социалистическом обществе.

После того, как арестовали профессора Парина (это было уже в 1947 г.), мой муж как-то сказал мне с горечью: "Подумай, я сегодня встретил на лестнице Нину (жену Парина). Мы вместе спустились в лифте, но у выхода во двор она сказала мне, чтобы я оставил ее и пошел один. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Я крепко взял ее об руку и демонстративно прошагал мимо всех вахтеров и шпиков. Плевал я на них. Но как обидно, как горько мне думать об ее унижении и о том, что и меня она считала жалким трусом, который побоится показаться с ней". Попробуйте представить себе, что такое жизнь в стране, где нужны "смелость и отвага" только для того, чтобы пройти по двору с женой арестованного. Подумайте об этом, дорогой западный читатель, когда вы пойдете голосовать и захотите опустить свой бюллетень за каких-нибудь "левых".

Почти всегда через некоторое время после ареста "врага народа" приходили вторично и арестовывали его жену, а детей отправляли в специальные приемники и детские дома. Официально узаконенная расправа с женами "врагов народа" (без предъявления им каких-нибудь личных обвинений) — это новейшее изобретение советской юстиции. Царское правительство этого не знало.

Вот только одна, очень типичная картина того, что происходило с семьями арестованных. Этажом выше нас жил ответственный партийный работник Амаяк Назаретян, до которого Сталин добирался уже давно. Он пытался арестовать его

и расправиться с ним еще в начале 30-х годов, но тогда этому помешал Орджоникидзе при поддержке Куйбышева и Кирова. Понятно, что Назаретян стал одной из первых жертв "Большого Террора". Он был арестован уже в июне 1937 г.

С его женой Клавдией, которая также была через короткое время арестована, я была хорошо знакома. Обычно за женами и детьми тоже приходили ночью, но Клавдию арестовали и увели вместе с детьми днем, потому, вероятно, что маленькой ее девочке было всего пять месяцев. Проходя мимо дежурной, семилетний сын Клавдии сказал ей: "Тетя Нюра! Сначала они арестовали папу, а теперь меня".

Московские тюрьмы были в то время переполнены, и для женщин с детьми там уже не было места. Поэтому Клавдию с девочкой поместили в какую-то полуразрушенную большевиками церковь, спешно переоборудованную в тюрьму для женщин с детьми. Там эти женщины промучились некоторое время, не имея самых элементарных человеческих условий, не имея даже возможности выстирать или прополоскать пеленки. Потом их, наконец, перевели в тюрьму, продержали там несколько времени, не вызывая на допросы (ведь их ни в чем не обвиняли, кроме того, что они "жены"), а затем каждой дали подписать бумагу о том, что она является женой "врага народа" и на этом основании приговаривается к 8 годам лагеря.

С момента ареста Клавдия и ее дети совершенно исчезли, как в воду канули, не только для нас, соседей, но даже и для всех родных. Была у Клав-

дии в Москве тетка, которая ее вырастила, простая русская женщина тетя Дуся. В ней то и в ее муже Ване, простом рабочем, еще сохранилась совесть и честь, которую так успешно вытравил большевизм в русской интеллигенции и прежде всего, конечно, в душах членов партии.

Дни и ночи простаивали Дуся и Ваня в очередях в справочные бюро органов "государственной безопасности", пытаясь узнать, где Клавдия и ее дети, но узнать им ничего не удалось. Только от родственников других арестованных женщин они узнали, что в Москве существует специальный приемник, где содержат детей арестованных до их отправки в специальные детские дома. Каким-то чудом они разыскали этот приемник и нашли там семилетнего сына Клавдии, которого у нее отобрали сейчас же после ареста. Мальчика должны были вскоре отправить в детский дом. Был он страшно напуган и находился в очень тяжелом состоянии. Тут простая русская женщина Дуся проявила чудеса неустрашимости и настойчивости. Она добилась разрешения взять этого мальчика на воспитание. Клавдия же и ее крохотная дочь исчезли бесследно. На все просьбы, на все запросы никаких ответов не было.

Прошло года полтора, и Дуся неожиданно получила повестку — вызов в органы госбезопасности. Там ей объявили, что Клавдия находится в лагере, а девочка — в яслях при лагере, но так как девочка уже подросла, то ее должны были отправить из яслей в детский дом. Клавдия подала заявление с просьбой отдать девочку на воспитание тете Дусе, если та согласится взять ее. О

том, что мальчик воспитывается у Дуси, Клавдия, конечно, не знала. Дуся, которая и сама-то перебивалась с хлеба на квас, конечно, с радостью согласилась. Ей дали адрес лагеря и разрешили поехать за девочкой. Так мы узнали, наконец, где Клавдия.

В жизни я никогда не видела такого страшного ребенка, каким была маленькая Каля, когда Дуся привезла ее в Москву. Это был мешочек гремящих косточек, с огромной головой, иссиня-белым личиком и черными крутами под глазами. Твердую пищу девочка есть не умела — очевидно, никогда не видела ее, а при виде каши захлебывалась в слезах и крике. И все же героическая тетя Дуся выходила, поставила на ноги обоих детей Клавдии. Честь ей и слава!

В 1946 г. Клавдия вернулась из лагеря и прожила некоторое время у меня на даче под Москвой. Ей нужно было отдохнуть и подкормиться, а права жить в Москве отбывшие срок в лагерях не имели. Но когда Сталин начал вторую волну арестов и репрессий, начали вторично арестовывать и жен "врагов народа", хотя большинство из них было уже в то время уничтожено. Была вторично арестована и послана в лагерь и Клавдия. Она вернулась в Москву только после смерти Сталина и ареста Бери, получила квартиру и пенсию за "несправедливо осужденного" и по-смертно реабилитированного Назаретяна.

Самоотверженность и мужество тети Дуси и ее мужа были явлением исключительным даже для среды простых беспартийных людей. Многие и в народе отрекались от арестованных близких и

предавали их. Что поделаешь — страх превозмогал все. Но все же в простом народе еще теплились остатки совести и человеческих чувств. В партийной среде предательство стало нормой. Слово "верность" было забыто. Как только кого-нибудь забирали, как немедленно от него отрекались и его начинали поносить его многолетние друзья, соратники и даже родные.

Вот типичная картина. Жили-были в Москве два закадычных друга, два старых большевика Борис Волин и Сергей Ингулов. Сочинили они вдвоем еще в двадцатые годы "Учебник политграмоты", по которому многие миллионы советских граждан осваивали основы марксистско-ленинской мудрости. Дружно делали они и свою партийную карьеру, идя вверх друг за другом. Сначала Волин был начальником Главлита (Управления цензуры, которое для камуфляжа числилось при Министерстве Просвещения), а когда он стал заместителем Министра Просвещения, его кресло в Главлите занял Ингулов. Дружили они и домами. Их жены Дина Волина и Александра Ингулова были близкими приятельницами. Ингулова была моей дальней родственницей, я даже провела у нее мою первую ночь в Москве. Через нее я и познакомилась с Волиными, которые жили в том же Доме Правительства.

В 1937 или 1938 году Ингулова и его жену арестовали, а Волин случайно уцелел. Вскоре после ареста Ингулова я встретила как-то во дворе дома Волину. Ханжески поджимая губы, она сказала мне: "Ах, как нам жаль Шуру. Она,

конечно, ничего не знала. Но Сергей, ... Сергей для нас больше не существует". Ведь знала же, дрянь, знала, не могла не знать, что никаких преступлений Ингулов не совершал, что не было ничего, что Шура могла бы "знать" или "не знать"! Но отречься от Ингулова, отмежеваться от него, предать двадцать лет дружбы она считала необходимым даже передо мной. Так вели себя все члены партии, за очень немногими исключениями.

По всей логике работы органов безопасности, раз был арестован Ингулов, непременно должен был быть арестован и Волин. Слишком тесно были связаны эти два имени. Но как это ни странно, Волин нисколько не пострадал. Он не был даже исключен из партии и продолжал работать, хоть и не на столь видных постах. Это казалось всем тем более странным, что Борис Волин — еврей. Его настоящая фамилия Фрадкин, а брат его Александр Фрадкин был арестован и погиб в 1938 году. Разгадку этой тайны я узнала во время следствия по нашему делу, в Лефортовской тюрьме МГБ. В одну из "тихих" ночей следователю, полковнику Комарову, зачем-то понадобились сведения о том, где и на каких дачах жила в последние годы моя семья летом. Между нами произошел такой разговор.

— Где вы жили летом 1945 года?

— В подмосковном поселке Кратово, на даче Волиных.

— Вы жили на даче у председателя Верховного Суда Волина?

— Председателя Верховного Суда Волина я не знаю, а сняли мы на лето дачу у старого большевика Бориса Волина.

— Послушайте. Теперь я верю, что у вас галлюцинации и вам снятся давно погребенные мертвецы. Не могли вы жить на даче Волина, не может у него быть дачи, его давно нет в живых.

— И все же: Борис Волин жив, проживает в том же Доме Совета Министров, где жила и я, награжден орденами и медалями и вообще вполне благополучен.

-- Как зовут его жену и дочь?

— Жена его — Дина Давыдовна, а дочь — Виктория.

— Правильно. Неужели вы думаете, что, арестовав и пустив в расход Ингулова, мы оставили на свободе Бориса Волина? Поверьте мне, Волина давно нет, тю-тю ваш Волин.

— И все же уверяю вас, что Волин никогда не был арестован и вполне благополучен.

— Послушайте, Шатуновская, кто-то из нас сошел с ума. Думаю, что вы. Да знаете ли вы, сколько лет я здесь работаю. Да я еще лейтенантом, этими вот своими руками ...

— Волина вы, очевидно, забыли. Во всяком случае я видела его и его жену за две недели до нашего ареста. Мы встретились на избирательном участке в нашем доме в день выборов в Верховный Совет.

Комаров начал плевать, ругаться и бегать по своему огромному кабинету.

-- Послушайте, полковник, -- сказала я, -- ведь вы можете утром все это проверить.

— Я не могу ждать до утра, -- закричал Комаров и нажал кнопку звонка.

Вошел охранник, и, оставив меня под его бдительным наблюдением (чтобы я, упаси Бог, не задремала хоть на минутку, сидя на табуретке), Комаров выбежал из кабинета.

Вернулся он через несколько часов в состоянии полного бешенства. Он бегал по кабинету, ерошил волосы, плевался и рычал: "Пропустили идиоты, пропустили, забыли ..." Дальше шла виртуозная и неповторимая ругань.

После нашего возвращения в Москву я решила не рассказывать Волину о том, какая счастливая случайность спасла его. Так он и умер, не подозревая об этом.

Весь этот эпизод воспринимался (позже, конечно) нами и всеми знакомыми, которым я рассказывала об этом, как нечто почти комическое. Но если вдуматься, то как это трагически страшно, каким Каиновым клеймом ложится на весь советский строй то, что в нем человек погибает или выживает не по своим поступкам и даже не по своим словам и убеждениям, а по чистой игре случая — "вспомнили" о нем или "позабыли".

Раздумывая потом об этом эпизоде, я поняла, почему несколько человек, которые, казалось бы, неизбежно должны были быть арестованы, непонятным образом избежали этой участи.

Был у меня, например, дальний родственник Александр Жвиф, партийная кличка которого была Макар. Был он старым большевиком, провел много лет в эмиграции, окончил в Европе медицинский факультет, но врачеванием никогда не занимался. После революции его пустили по дипломатической линии. Он был советским послом в

каких-то европейских странах, а на последнем своем посту в Мексике провалился: Мексика порвала отношения с Советским Союзом, когда он был там послом, и вину, конечно, ввалили на него. По возвращении в Москву его назначили председателем какого-то профессионального союза (не удивляйтесь, я не описалась: в СССР руководителей профессиональных союзов назначают так же, как и всех других чиновников, прикрывая это фикцией выборов). Был Макар яростным троцкистом, участвовал в троцкистских группировках, и все об этом знали. Казалось бы, тут-то Макару и крышка. Ан, нет. Жена его Соня была женщиной умной и дальновидной. Как только в воздухе повеяло опасностью, она заставила мужа тяжело "заболеть", уйти со всякой работы и перейти на положение пенсионера. Макар хорошо знал иностранные языки, имел переводную работу, которая обеспечивала его, и жил "тише травы, ниже воды". О нем забыли, и он уцелел. Так же хитро спланировали и некоторые другие из моих знакомых. Но кое-кому просто повезло, о них забыли в суматохе массового террора.

Я не могу закончить мой рассказ об этих годах, не сказав несколько слов о той атмосфере угодничества и беспринципности, которая установилась в эти годы в учреждениях культуры — в редакциях журналов и газет, в театрах, в организациях писателей, художников, музыкантов, в научных учреждениях.

Говоря словами Солженицына, все мы "жили по лжи". Говоря "мы", я не делаю исключения для себя и для моего мужа. Его всегда с усмешкой называли "фрондером", потому что у него

сохранилось стремление хоть в чем-то и как-то сохранить свою индивидуальность, говорить не вполне по казенному образцу, высказывать мысли, если и не прямо еретические или, упаси Бог, антисоветские, то, по крайней мере, хоть чем-то отличающиеся от советского стандарта. Но разве он не вел "общественную работу", без которой нельзя обойтись ни в одном советском учреждении? Разве не был вполне уважаемым членом комитета профсоюза, всю фальшь которого он понимал? Разве не ездил в предвоенные годы по частям Советской Армии с научно-популярными лекциями? Разве не был лектором и даже председателем отдела общества "Знание" - проводника и пропагандиста советской идеологии? Коротко говоря, разве не был он внешне "вполне советским человеком", в душе полностью отрицаая и ненавидя этот строй?

И я была хороша. В те предвоенные годы я работала в редакциях различных театральных журналов и была редактором сценарного отдела Министерства по делам кинематографии. Работать на идеологическом фронте в Советском Союзе очень трудно, труднее, чем в технике или науке. А в те годы это было трудно вдвойне. Правда, я сама никогда не писала о так называемом "социалистическом реализме", который всегда считала зловредной чушью, выдумкой Горького, ведущей искусство лишь к гибели и разложению. Я избрала себе нейтральную тему -- вопросы театральной школы и системы Станиславского, которую я считаю единственно эффективной системой воспитания и подготовки актера.

В этом я была искренна. Но разве я не заказывала для журнала и не редактировала статьи и рецензии тех критиков и литературоведов, которые за деньги готовы были писать все, что угодно партийному начальству. Издевалась над ними в кругу друзей, а все же редактировала и посылала в печать. Разве я позволила себе где-нибудь и когда-нибудь высказать публично свое настоящее мнение о социалистическом реализме?

Вот эпизод, характеризующий обстановку в редакции в те годы. Был в Москве "ведущий" драматург Киршон (без "ведущего", как известно, в Союзе ни одна область жизни не обходится). Пьесы он писал весьма посредственные, но считался как бы "представителем" Центрального Комитета партии в драматургии. Последняя его пьеса "Большой день" была поставлена театром Советской Армии, и я была на премьере. На другой день заместитель редактора журнала "Театр", где я тогда работала, Виктор Залесский предложил мне написать рецензию об этом спектакле. Я ответила ему, что пьеса, по моему мнению, плохая, а спектакль очень слабый, и что я могу написать только так. Залесский покраснел от гнева: "Да знаете ли вы, кто такой Киршон?" — кричал он, — Да читали ли вы сегодня рецензию об этом спектакле в "Правде"? Какое же право имеете вы говорить, что пьеса и спектакль плохие?" После этого Залесский вообще перестал со мной разговаривать и даже здороваться. Меня вызвал к себе и сделал внушение "сам" директор издательства "Искусство". Стороной я узнала, что меня собираются "проработывать" на общем собрании

сотрудников издательства. Можно было ожидать больших неприятностей, вплоть до увольнения с работы.

И вдруг все переменялось. Через несколько дней (довольно неприятных для меня, говоря по совести) Залесский при встрече со мной мило улыбнулся, заговорил со мной и был необычайно приветлив. Ничего не понимая, я прошла в соседнюю редакцию кино-газеты и спросила там своих друзей, чем объяснить такую необычайную перемену в отношении Залесского ко мне. Ответ был очень прост: "Сегодня ночью Киршон арестован как враг народа".

Вот так мы жили и работали. И при всем том нам, интеллигентам, был необходим какой-то самообман, нужны были какие-то оправдания нашего малодушия и трусости. Мы уверяли самих себя и друг друга в том, что работаем мы, дескать, не на большевиков, а через их головы на благо народа, на искусство, на науку, на культуру. А посему необходимо прибегать к мимикрии, сохранять покорность и стараться делать свое дело как можно лучше, не взирая на большевиков, благо они дают деньги на науку и искусство.

Трудно сейчас разобраться в том, сколько здесь было искреннего самообмана и сколько приспособленчества, душевной трусости, боязни заглянуть в собственную душу. Как горько, как стыдно вспоминать теперь об этом. И как страшно думать, что так и по сей день живут многие миллионы хороших людей по ту сторону железного занавеса!

Жалею ли я об участии старых большевиков, столь безжалостно истребленных Сталиным? Сочувствую ли я им? Многих из тех, кого я лично знала и кто в частной своей жизни был неплохим человеком, мне просто по-человечески жаль. Но когда я думаю о старых большевиках как о социальной группе, я не нахожу в своей душе ни жалости ни сочувствия им.

Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали и даже в помыслах не имели. Но была за ними другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно поддерживали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них.

Я не религиозна в обычном смысле этого слова, но есть в моей душе неистребимая вера в некую Высшую Справедливость, в то, что "воздастся коемуждо по заслугам его". Когда Сталин уничтожал одно поколение чекистов за другим, когда погибли жалкой смертью Берия и кое-кто из его сотрудников, не было в моей душе жалости и сочувствия к ним. Я видела в этом проявление Высшей Справедливости.

И если можно вообще применять слово "справедливость" к делам советских органов безопасности, то, может быть, истребление старых большевиков было в каком-то смысле самой справедливой из всех совершенных ими несправедливостей. Старые большевики это чудовище создали, они от него и погибли. Tu l'as voulu, George Dandin!

Сталинское племя

Новые жильцы, заселившие разоренные и опустошенные квартиры Дома Правительства, принадлежали, как и прежние их обитатели, к высшим слоям той же партийной элиты. Это были те же руководящие работники Центрального Комитета партии, министры и их заместители, высокопоставленные чиновники государственного и партийного аппарата. Как и прежде, Дом Правительства был заселен почти исключительно членами партии. Но это были уже люди совершенно иного духовного облика, иного морального и интеллектуального уровня.

Конечно, смена поколений — вещь естественная. Люди, воспитанные до Революции и выдвинувшиеся в первые ее годы, должны были постепенно уступать место новому поколению — тем, кто вошел в активную жизнь в сталинские — двадцатые и тридцатые годы. Но в СССР произошла не просто естественная смена поколений, а глубокий, качественный разрыв между ними. 'Порвалась связь времен', — как жаловался Гамлет.

Изменились принципы отбора людей в партию и критерии их продвижения в ней. Если до Революции вступление в партию и участие в ее работе

требовали от человека готовности к жертвам во имя своих идей, то теперь партийный билет открывал путь к власти и материальному благополучию. В партию теперь устремились не прежние идейные фанатики, а беспринципные карьеристы, люди, лишенные совести и чести, готовые ради своего благополучия на все гнусности. Только такие и могли теперь продвигаться вверх.

Процесс "негативной селекции", отбора худших, начался в 1925 г., сразу после смерти Ленина, когда в обстановке потрясения, вызванного этим событием был объявлен так называемый "Ленинский набор" в партию. Официальная демагогическая мотивировка этого мероприятия была такова: вождь народа умер, и, чтобы возместить эту потерю, партия должна широко открыть свои двери лучшим представителям рабочих и крестьян.

Я вела в это время общественную работу на разных заводах и видела, как осуществлялся этот "Ленинский набор", кто заполнял партийные ряды. Я видела, как приходили на завод невежественные, жадные, лишенные каких бы то ни было принципов парни и девушки, обуреваемые одним желанием — устроиться получше, пробить себе дорогу. Я слышала, как они начинали выступать на собраниях с демагогическими призывами, заимствованными из газет, как начинали подлаживаться к партийному руководству завода. И, глядишь, через несколько месяцев этого полутрамотного парня или девушку снимают с "черной" работы и ставят к станку, с которым, конечно, они управиться не могут.

Но стоять у станка и повышать годами свое мастерство — это тоже дело трудное и неприбыльное. Поэтому они как можно скорее вступают в партию и начинают делать карьеру: кто проникает в заводской партийный комитет, кто "избирается" в местный комитет профессионального союза, а кто становится постепенно начальником участка, мастером цеха, начальником отдела заводоуправления и т.п. А отсюда уже открывается путь вверх по любой линии — партийной, профсоюзной, административной. Ведь от члена партии не требовалось ни знаний, ни таланта, ни опыта. Нужно только умение подлаживаться к начальству и готовность делать все, что прикажут. Понемножку этих безграмотных "выдвиженцев" потом обучали на всяких "рабочих факультетах", краткосрочных курсах и т.п., но их профессиональная квалификация и общий культурный уровень всегда были очень низкими.

Принцип "негативной селекции" оставался неизменным на всем протяжении истории СССР — в сталинские и послесталинские годы. Он не только охватил всю партию и весь советский аппарат, но и все шире проникал в область культуры — в науку, литературу, искусство. Всюду выдвигались не лучшие, самые талантливые и честные, а худшие, беспринципные и бесталанные.

Животноводы говорят, что нужно несколько поколений, а иногда и несколько десятков поколений, чтобы вывести новую породу собак, лошадей, коров. Десяти-пятнадцати лет "негативной селекции" оказалось достаточно, чтобы вывести новую, сталинскую, "породу" коммунистов.

Большой Террор одной из своих целей имел, несомненно, и это.

Предвоенные годы, 1939 — 1941, были для меня очень тяжелым и трудным временем. Рождение первого сына и его смерть через несколько месяцев, рождение второго сына, тревоги и опасения, порожденные началом войны в Европе, все более удушливая и мертвящая атмосфера на работе и во всей культурной жизни страны, — все это не оставляло уже ни времени, ни желания, ни душевных сил для общения и знакомства с новой средой, заполнившей Дом Правительства.

А затем война обрушилась и на нас. Через месяц после ее начала, в июле 1941 г., почти вся Академия Наук СССР, в том числе и Физический Институт, в котором работал мой второй муж, были эвакуированы в Казань, и на два года мои связи с этой средой были совершенно порваны. Вновь столкнулась я с этим сталинским племенем только после нашего возвращения в Москву летом 1943 г.

Трудно современному читателю, а особенно на Западе, представить себе те нечеловечески тяжелые условия, в которых прожили годы войны все советские люди — крестьяне, рабочие, интеллигенты. Впрочем не все, а все за исключением верхушки партийной элиты, да еще, пожалуй, кучки спекулянтов и воров. Эти наживались на войне, как во всех странах и во все времена, но в СССР условия для них были особенно благоприятны.

В Казани Президиум Академии Наук и все эвакуированные из Москвы и Ленинграда Институты кое-как втиснули в здание Казанского Универси-

тета, который фактически перестал функционировать в эти годы. Часть работников Академии разместили в комнатах, реквизированных у местного населения, а остальных поселили в еще не вполне достроенном здании студенческого общежития на окраине города.

Там получили комнату и мы с мужем и ребенком. После великой московской паники, когда немцы приближались к Москве, к нам сумела пробраться и сестра моего мужа со своим мужем. Она была педагогом и работала с советскими бойскаутами — "пионерами", как их называют в России. В первые дни войны, когда начались воздушные налеты на Москву, все детские учреждения вывели из города и разместили в разных деревнях Московской области. О необходимости эвакуировать их подальше никто не подумал. Никто не верил, что немцы могут подойти к Москве вплотную и что над столицей нависнет опасность захвата ее врагом. Еще жив был в памяти хвастливый предвоенный лозунг, о том, что воевать мы будем "на чужой территории и малой кровью".

Когда в октябре опасность захвата Москвы немцами стала вполне реальной, верхушкой партии овладела паника. Началось стихийное бегство, уничтожались документы, списки личного состава учреждений, бежали кто и как мог. Конечно, в первую очередь вагоны и машины предоставлялись "знатным". Особенно отличились в эти дни органы государственной безопасности — чекисты, в руках которых была сила, захватывали вагоны, грузили все свое личное имущество и бежали панически, ни о чем и ни о ком не думая. Я говорю

об этом со слов моего мужа, который был в эти дни в Москве. Он вернулся туда за оставленным там впопыхах и оказавшимся нужным ему теперь оборудованием и успел вывезти его на последнем в эту навигацию рейсе теплохода, который проскользнул к Волге по каналу в ту ночь, когда на другом берегу его шли бои за город Калинин.

О детях никто не подумал. Воспитатели, в том числе и сестра моего мужа, сами снабдили детей чем могли и вместе с ними ушли на Восток пешком. Лишь после нескольких десятков километров пешего пути их подобрали какие-то военные машины и довезли до города Горького на Волге (бывший Нижний Новгород). Там детей разместили по школам, а сестра приплыла на пароходе к нам в Казань. Через некоторое время к нам присоединился ее муж. Стало нас в комнате пятеро. А еще через какое-то время к нам пробрались из Москвы и родители мужа. Стало нас семеро. Правда, вскоре сестра получила отдельную комнатку неподалеку от нас. Но впятером мы так и прожили два года в одной комнате, настолько сырой, что осенью стены ее покрылись зеленой плесенью.

Все те мои родные, которые не успели эвакуироваться из Одессы, а их было девять человек, были немцами убиты. Моего дядю, который после нашего отъезда поселился в квартире моих родителей при школе, немцы повесили на ветвях того дерева, под которым я играла ребенком, а остальных моих родных они загнали вместе с тысячами других людей, преимущественно евреев, в бывшие артиллерийские склады и там взорвали их всех. Да, хлебнули все мы горя в эту войну.

В здании, где нас поселили в Казани, центральное отопление почти не работало. Обогревались самодельными маленькими железными печками, трубы которых выводились в окна. У многих, в том числе и у нас, в первую зиму и таких печек не было. Не было ни плит для приготовления пищи, ни керосина. Одно время мы разжигали свои "примусы" на нещадно коптившем скипидаре, который еще сохранился в магазинах, а потом и его не стало. Готовили на тех же печках, когда удавалось достать немного дров, или на маленьких электрических плитках в те счастливые дни, когда подавался ток. Это случалось не очень часто.

Весь дом, несколько сот человек, получал кипяток из одного кипятильника. Он подавал воду мучительно медленно, по каплям, и около него всегда собирались очереди. Это был наш клуб. Мылись редко, когда удавалось раздобыть немного горячей воды. Поддерживать минимальные санитарные условия в промерзших общих туалетах, которых имелось по два на каждом этаже, было необычайно трудно.

Жили мы впроголодь. По продовольственным карточкам фактически не выдавали ничего, кроме хлеба, да и того давали по очень жестким нормам, в обрез. Работники Академии Наук и их семьи получали сверх того обед, состоявший из пустой капустной или крупяной похлебки и ложки гороха или картофеля. Работникам изредка перепадал и кусочек мяса или рыбы. На черном рынке, процветавшем в СССР во все годы войны, достать можно было все, но цены там росли со

сказочной быстротой, а заработная плата рабочих и служащих почти не менялась и превратилась в нечто символическое. Месячного жалованья доктора наук едва хватало, чтобы купить на рынке немного растительного масла, овощей, картофеля. А у нас был новорожденный ребенок, и ему необходимо было обеспечить сахар, молоко, масло и прочее.

Как же мы и все окружающие нас выжили в эти годы? Немного поддерживало нас то, что нам ежемесячно давали по одной-две бутылки водки, которая котировалась на черном рынке очень высоко. Эту водку я превращала в сахар и масло для ребенка. Это была, конечно, незаконная торговля, подпольная "спекуляция", но ведь водку то нам давали, конечно, именно для этого. Работникам Академии Наук установили даже "фронтвой паек" — 100 грамм водки к обеду. Все они ходили в столовую с бутылочками и тщательно сливали в них драгоценную жидкость. А я относилась скопившиеся за неделю запасы водки жившей неподалеку от нас женщине, у которой сохранилась корова, и в обмен она давала ежедневно пол-литра молока для моего ребенка. Так жили с небольшими вариациями и все окружавшие нас.

Существенным подспорьем был картофель. Мы сами выращивали его на небольших участках земли, которые начали предоставлять весной 1942 г. городским рабочим и служащим. Физический Институт получил участок довольно далеко за городом, вблизи астрономической обсерватории Казанского Университета. Места там очень живописные, а неподалеку имелось небольшое

озеро, где можно было искупаться и помыться. Туда мы несколько раз за лето выезжали всем институтом, чтобы ухаживать за нашей "плантацией". А к осени каждый из нас получил по мешку мелкого картофеля, и это было очень важно и существенно для всех нас. Сажали мы картошку и в Москве в 1943 г. Участки Академии Наук находились по правую сторону от недостроенного тогда Ленинского проспекта, как раз там, где теперь стоит вычурный дом Центрального Совета Профессиональных Союзов и высятся новые многоэтажные жилые дома. Мы жили позже на Ленинском проспекте, и, проходя по этим местам, я постоянно вспоминала, как мы расчищали их от хлама и мусора и как дорожили каждой картофелиной, выращенной на этой земле.

Вообще нельзя переоценить роль картофеля в снабжении населения СССР в эти годы. Не мыслю себе, как бы мы выжили без него. День, когда перед уходом на работу или по возвращении с нее можно было поесть горячей картошки, был удачным. А если к картошке еще был лук и немного растительного масла, то это уже было полное благополучие, Лукулловский пир.

Но ни водка, ни выращенная нами самими картошка не решали полностью продовольственной проблемы.

Основным источником средств к жизни была продажа вещей. По воскресеньям я выходила на местный "блошинный рынок" и продавала поочередно свои платья, пальто, белье, костюмы и пальто мужа — все, что можно было и чего нельзя

было продавать. Иногда сотрудники Института, где работал муж, собирали все предназначенные к обмену вещи, и с ними отправлялась по деревням группа самых сильных и выносливых молодых мужчин. Вещи обменивались на продукты. Как-то, помню, с такой группой отправилась и жившая в нашем общежитии жена академика Леонтовича — женщина необычайной физической крепости и выносливости. Своего маленького ребенка она оставила на моем попечении. Когда мужчины, измученные целодневным хождением по занесенным снегом дорогам, валились вечером без сил в какой-нибудь гостеприимной избе, она спокойно предлагала: "А не пройтись ли нам еще в соседнюю деревню? Это недалеко -- каких-нибудь 5-6 километров туда да столько же обратно".

Иерархический принцип действовал и в эти годы. Высшие слои Академии и "ответственные товарищи" из администрации снабжались несколько лучше, но и их образ жизни был очень скромным.

Конечно, в какой-то мере все эти трудности с продовольствием были естественным и неизбежным следствием войны, которая застала страну совершенно неподготовленной. Почти все мужчины в деревне были призваны в армию. Оставались старики, подростки, женщины, на слабые плечи которых легла непосильная тяжесть снабжения продовольствием страны и фронта. Они работали героически, из последних сил, надрываясь, но продовольствия в стране катастрофически не хватало, а запасы были ничтожны. Вот когда сказались еще раз последствия сталинской коллективизации.

И при всем том многое могло бы быть легче и лучше, если бы не тупое доктринерство коммунистической партии и не ее полное пренебрежение к нуждам и страданиям народа. Вот только один маленький пример того, что происходило на необъятных просторах СССР.

В октябре 1941 г., когда немцы уже подходили вплотную к Москве, было решено строить оборонительную линию вдоль всей Волги, на много сот километров. Эта затея, конечно, была актом бессмысленной паники, овладевшей партийным руководством. Если бы не уложили под Москвой миллион человек так называемого "гражданского ополчения" и если бы вовремя подоспевшие сибирские дивизии не отогнали немцев от Москвы, то те жалкие рвы и деревянные укрепления, которые можно было построить вручную за несколько недель, не задержали бы немецкую армию и на несколько часов. Тем не менее, на эту работу были мобилизованы сотни тысяч людей, в том числе, конечно, и все сотрудники эвакуированных в Казань Институтов Академии Наук.

Группу сотрудников московских и ленинградских физических институтов (человек 100) направили в какую-то деревню в Чувашии, отстоявшую от ближайшей железнодорожной станции километров на 25. В эту группу вошел и мой муж. Транспорта не было, и путь от станции до места работы им пришлось пройти пешком. По обе стороны дороги, сколько глаз мог видеть, лежали необрунные поля хлеба, картофеля, гороха. А зима уже наступала, и все это должно было сгнить под снегом.

В деревне, где расположилась группа физиков, мой муж познакомился с председателем местного колхоза — мужиком умным и бывалым. "Почему вы не убираете поля?" — спросил он его. — Ведь война, стране необходимо продовольствие". "Да вот, — начал заученно объяснять председатель, — мужчины в армии, тракторы и машины реквизированы, убирать некому ... "

"Ну, а если бы вы предложили своим колхозникам: убирайте, четыре мешка или снопа государству, пятый — себе?" Председатель загорелся: "Да в одну неделю убрали бы. По ночам бы работали. На ручных тележках все вывезли бы". "Так почему не делаете? Лучше, ведь, так, чем чтоб все под снег ушло". Председатель горестно вздохнул: "Эх, не понимаете вы, городские, нашей жизни. Неужто мы сами до этого не додумались? Да ведь если я сделаю, как вы говорите, меня немедленно под суд отдадут "за разбазаривание государственного имущества и поощрение частно-капиталистических элементов. По военному времени и расстрелять могут. А если я эти гектары спишу по обстоятельствам военного времени, ничего мне не будет". Вот так-то.

И все же никто не жаловался. Годы войны были единственными, когда весь народ был с правительством. Все были полностью охвачены одним чувством, одной общей целью — добиться победы. С напряженным вниманием слушали мы у репродукторов сообщения с фронта. Каждый понимал, что речь идет не о каком-то абстрактном будущем страны, не о проигрышах или выигрышах,

а о его собственной жизни и жизни его страны. Все — рабочие, крестьяне, инженеры, ученые, врачи — работали с полным напряжением всех сил, не считаясь со временем, принимая все жизненные тяготы и невзгоды как нечто неизбежное. Мы не знали тогда, какой "пир во время чумы" устроила себе в эти годы партийная элита. Да и не задумывались об этом.

Рабочие, техники, инженеры эвакуированных заводов, работая по 10-12 часов в день, а когда нужно, то и круглосуточно, полуголодные, полураздетые собирали в голой степи, в морозы, прибывшие станки, переналаживали и переделывали их, создавали на новом месте заводы для производства оружия. Иногда станки пускали раньше, чем заканчивалась постройка стен вокруг них и крыши над ними. Людей не хватало, и к станкам приходилось ставить пятнадцатилетних мальчишек. Они иногда не могли даже дотянуться до станка, и под ноги им подставляли ящики. И никто в разгаре работы не задумывался над тем, как преступно плохо подготовила страну к войне правящая партия, какое тупоумие проявил "великий стратег" Сталин в этой подготовке.

Осознали мы это много позже, уже после войны. В конце 60-х годов мой муж заболел, и ему пришлось лечь в больницу Академии Наук. Его соседом по палате оказался инженер Вайсберг, один из крупнейших советских металлургов, чьи заслуги во время войны были огромны. Достаточно сказать, что когда после войны награждали орденом Победы маршалов и виднейших военачальников, то эту высокую награду получили

только два штатских человека. Одним из них был Вайсберг, несмотря на то, что он был евреем.

Из разговоров с Вайсбергом мы узнали, что перед войной в СССР имелся только один-единственный завод, на котором можно было прокатывать танковую броню. И находился этот завод в городе Мариуполе, на берегу Азовского моря. Немцы захватили этот завод в первые месяцы войны, и положение создалось катастрофическое. Немцы сокрушили всю танковую мощь Советской Армии, а восстанавливать ее нельзя было: не было танковой брони.

Кем, спрашивается, нужно было быть, чтобы не только оставить такой завод без дублера, но и расположить этот единственный завод в столь уязвимом для противника месте? Но до того ли было? Нужно было разгромить все командование армией, нужно было истребить все старые кадры, нужно было создать систему лагерей и загнать туда десятки миллионов людей, нужно было терроризировать и разложить страну. Где уж тут думать о танковых заводах, тем более, что до последнего дня Сталин верил в свой союз с Гитлером и не допускал мысли о войне. А газеты трубили о непревзойденной мудрости вождя!

Промахи и ошибки Сталина исправили рабочие и инженеры того уральского завода, директором которого был Вайсберг. Под его руководством, ценой сверхчеловеческих усилий, они наладили прокат танковой брони, переоборудовав совершенно неподходящие для этой цели станы, прибывшие с других эвакуированных заводов. Положение было спасено: танковая броня пошла. Но чего это стоило?

После войны Вайсберг много раз писал во все высшие советские и партийные органы, указывая на столь же вопиющие нелепости в организации советской металлургии и после войны. Тщетно. Всюду он натыкался на глухую стену тупоумия и чиновничьего равнодушия. Такое нервное напряжение даром не проходит. Когда мы познакомились с ним, Вайсберг уже лежал в больнице с пятым инфарктом, а вскоре он умер.

Много и напряженно работали и все ученые страны, в том числе и мой муж. Они уходили на работу рано утром, зимой еще затемно, и возвращались поздно вечером, измученные и голодные. Счастьем было, если мы могли их чем-нибудь накормить. Работали с полной отдачей себя, с полным напряжением всех сил, но бестолочь советской системы сводила почти все их усилия к нулю. Когда мы приехали в Казань, выяснилось, что никаких мобилизационных планов нет, и никто не знает, что должны делать во время войны физики и химики. Предложили каждому самому подумать и найти себе задачу на военное время. Делалось все кустарно, без всякого плана и общего руководства, без объединения и концентрации сил и средств на действительно важных и срочных задачах. Но даже и то, что удавалось разработать, почти всегда оказывалось невозможным внедрить и использовать во время войны.

В годы войны партия получила и последнее пополнение честных и преданных людей. В пылу патриотического подъема очень многие, особенно на фронте, считали своим долгом вступить в партию. Со многими из этих "коммунистов военно-

го времени” мне пришлось встречаться позже. Почти никто из них после войны карьеры в партии не сделал, большинство из них испытывало глубокое разочарование. Многие в разговорах высказывали еще более резкие антипартийные взгляды, чем мы, беспартийные. Но уйти из коммунистической партии по-хорошему, заявить открыто о своем разрыве с ней нельзя. Это грозит большими неприятностями. Поэтому, как всегда, многие, оставаясь в партии, искали примирения с собственной совестью, успокаивали себя (или делали вид, что успокаивают) верой во все советские благоглупости, во все то, в чем их уверяла коммунистическая пропаганда.

На фоне того, как мы прожили первые два года войны и что видели вокруг себя, то, что я увидела, когда по возвращении в Москву я столкнулась вплотную со средой новой знати, было для меня страшным внутренним потрясением. Постепенно, приглядываясь к нравам и обычаям этой среды, я поняла, как глубоко зашел за эти годы процесс разложения коммунистической партии и, особенно, ее верхних слоев. Многого стало мне понятно и в психологии этих новых властителей, людей сталинской породы.

Вернулись мы в Москву в июне 1943 г., в первом эшелоне Институты Академии Наук. Вернулись изможденные, изголодавшиеся, оборванные и почти босые. Муж мой уже давно щеголял в старых солдатских сапогах и потертой кожаной куртке, заваливавшихся у нас со времен гражданской войны, а у меня разваливалась последняя пара туфель. Да и у ребенка целой обуви не было.

Как гулять с ним? Спасибо, наша соседка по квартире Савельева сумела достать на какой-то закрытой базе пару простых туфель для меня и парусиновые, образца военного времени ботиночки для ребенка. Проблема прогулок была решена.

Жизнь была еще очень трудна, но настроение у нас и у всех наших друзей было бодрое и уверенное. Война еще не была кончена, и в одну из первых ночей после нашего возвращения нам пришлось пережить очень сильный воздушный налет на Москву — последний налет немцев на Москву в эту войну. Но исход войны был уже ясен. Над городом все чаще вспыхивали разноцветные огни салютов, отмечавших победы Советской Армии. Верилось в скорую победу, забывалось все плохое, что было прежде, крепили надежды на то, что жертвы, принесенные народом, будут не напрасны, что победа принесет нам свободу и счастье. Слепцы, как горько мы ошибались! Партия и на этот раз обманула народ и присвоила себе все плоды его жертв и усилий.

Дом Правительства еще сохранял свой суровый военный внешний облик. Вдоль всех стен были уложены мешки с песком. Окна всех квартир еще были перекрещены полосками бумаги или марли, строго соблюдались правила полного затемнения ночью, на крышах дежурили специальные ночные пожарные команды, которые должны были тушить зажигательные бомбы, если они упадут на дом. Но хозяйство дома поддерживалось всю войну в полном порядке. Туда ведь должны были вернуться "знатные". Да и во время войны

кое-кто из них (очень немногие) оставался в Москве, а многие приезжали туда время от времени. Среди таких особенно отличался сын Сталина Василий, который провел в Москве больше времени, чем на фронте, и устраивал дикие оргии и пьянки в опустевших квартирах своих двух находившихся в эвакуации теток — Евгении и Анны Аллилуевых.

Нельзя же было лишать всех их привычного комфорта, и потому в доме безотказно работало центральное отопление, подавался газ, не было ограничений в пользовании электрической энергией и даже — подумать только! — круглосуточно подавалась горячая вода. Мыться можно было сколько угодно и когда угодно. Это было давно забытым счастьем, и многие наши друзья и родные приходили к нам, чтобы насладиться неслыханным блаженством — принять горячую ванну.

В комендатуре дома имелись ключи от всех квартир и, воспользовавшись этим, доблестная чекистская "охрана" дома основательно почистила опустевшие квартиры. Говорили, что одних золотых часов было украдено 72 пары. Украл и у нас много вещей, представлявших по тем временам "меновую ценность", но это нас не очень огорчило и не испортило нашего бодрого настроения. После Казани жизнь в Доме Правительства казалась нам просто райским существованием.

Да и продовольственное положение было в Москве, как всегда, значительно лучше, чем во всей стране. Нормы, по которым снабжалось по карточкам население, были нищенскими, полуголодными, но все же кое-какие продукты по карточ-

кам можно было получить, и эти продукты отпускались по очень низким государственным ценам. Кроме хлеба, можно было получить немного сахара, крупы, растительного масла, мыла, иногда даже мяса или рыбы.

Система снабжения была невероятно дифференцирована. Существовали десятки категорий продовольственных и промтоварных карточек для различных групп граждан, и это открывало широчайший простор для всяких злоупотреблений и воровства. Научные работники занимали, конечно, не самые высокие места в этой дифференцированной системе привилегий, но и не самые низкие. Мы получали и кое-какое дополнительное снабжение, но его все же не хватало и частенько приходилось прибегать к услугам "черного рынка".

Чем был "черный рынок" в Москве в эти военные годы? Еще до войны в разных районах Москвы существовали под открытым небом так называемые колхозные рынки. Предполагалось, что на этих рынках колхозники и рабочие совхозов будут продавать по вольным ценам излишек продовольствия, выращенного ими на крохотных приусадебных участках. Они и делали это, торговали молочными продуктами, картофелем, овощами, фруктами, ягодами. В мирные годы, когда население хоть и с перебоями, но все же снабжалось в основном через сеть государственных магазинов, цены на колхозных рынках регулировались государством. Они были несколько выше государственных, но это окупалось большим выбором и лучшим качеством продуктов, постав-

лявшихся на рынок их непосредственными производителями. В военное же время цены на колхозных рынках взлетели в десятки раз: полукилограммовый батон белого хлеба, стоивший в магазине 1 рубль 30 копеек, на рынке продавался за 100-110 рублей, сахар, стоивший по государственной цене около 5 рублей за килограмм, на рынке стоил 200-300 рублей и т.д. А заработная плата рабочих и служащих за годы войны росла несравненно медленнее.

Откуда же люди брали деньги, чтобы покупать продукты на черном рынке по этим сумасшедшим ценам? В основном жили продажей вещей, в которых все деревенское население страны нуждалось так же остро, как городское — в продовольствии. Выносили на рынок все, что было: остатки платья, обуви, домашней утвари. Устанавливался прямой товарообмен между голодающим городом и обнищавшей деревней. Колхозный рынок превращался в то, что на Западе называют "блошиным рынком".

Вместе с тем колхозный рынок превратился и в центр неприкрытой спекуляции. Здесь сбывали свою добычу бесчисленные воры и мошенники, присосавшиеся к государственным закромам. Здесь же жены высокопоставленных партийных боссов сбывали по рыночным ценам излишки продовольствия, обуви, одежды, которые они получали в изобилии по государственным ценам (а часто и бесплатно) на всевозможных закрытых базах, складах, в столовых, швейных и обувных ателье. Спекулянт — партийный и беспартийный — все больше вытеснял колхозника с колхозного рынка.

Конечно, официально эта спекуляция была строго запрещена. По рынкам шатались милиционеры и переодетые в штатское работники органов госбезопасности. Время от времени они хватали какую-нибудь несчастную женщину, продававшую свое старое пальто или менявшую полученные ею по карточкам селедки на кусочек масла для ребенка. Но прекратить настоящую спекуляцию на черном рынке они, конечно, не могли, да власти и не стремились серьезно к этому. Черный рынок стал жизненной необходимостью и для простого народа и для партийной элиты. Как же иначе сбывать излишек получаемых от государства продуктов и наживаться?

Когда я начала гулять с ребенком во дворе нашего дома, то первым, что бросилось мне в глаза — очевидно, по контрасту с тем, что я видела в Казани — были разжиревшие, самодовольные, богато, но безвкусно одетые дамы, гулявшие со своими хорошо выкормленными, даже пресыщенными, тоже очень нарядно одетыми детьми. Это были жены той новой партийной элиты, которая заселила Дом Правительства после сталинского истребления старых кадров. Настроение у всех было радостное, лица — спокойные и довольные, как будто миллионы людей не гибли на фронтах и в лагерях, как будто весь народ в тылу не изнывал под неподъемным грузом военных тягот.

Каюсь, грешница, и я в первое время выходила на рынок, чтобы продать что-нибудь из вещей и купить немного масла, сахара, яиц для сына. Впрочем, вскоре необходимость в этом для меня отпала. Я увидела, что по тем же ценам я могу по-

купать все, что мне нужно, и не выходя из дома, у моих знатных соседок.

Познакомившись позже с некоторыми из них, я увидела, что, действительно, война была для них счастливым временем, временем полного изобилия и неслыханного обогащения. Даже в эвакуации, в глубоком тылу, где народ жил на грани голодной смерти, партийная элита снабжалась очень широко и недостатка ни в чем не знала. Они имели и некоторые излишки для продажи на черном рынке. В Москве же широко разработанная система закрытого, привилегированного снабжения и колоссальный разрыв между ценами государственными и рыночными открыли перед ними невиданные возможности обогащения. И они эти возможности полностью использовали.

Кремлевская столовая, филиал которой имелся и в нашем доме, снабжала их не только изысканными и обильными обедами и ужинами, но и всякими "пайками", в которые входили всевозможные деликатесы, фрукты и т.п. А кроме того, существовали многочисленные закрытые базы и склады, с которых по специальным заборным книжкам отпускались в изобилии всякие продукты, одежда, обувь. Отпускались бесплатно или по государственным ценам, которые стали почти символическими. Открылись для них всякие швейные и обувные ателье, где по тем же почти символическим ценам они получали дорогие меха, импортные ткани, изысканную модельную обувь и одежду. А еще поступали ящиками фрукты из Средней Азии, вина и коньяки с Кав-

каза и прочие подношения местных сатрапов высшим начальникам. И наконец — last but not least — огромные возможности открывал грабеж побежденной Германии, поток так называемых "трофеев". По легальным и нелегальным путям, в контейнерах, ящиках и чемоданах поступали предметы невиданной в СССР роскоши: рояли, мебель, фотоаппараты и радиоприемники, ковры, фарфор ... В большом количестве ввозили нейлоновые чулки и белье, которых в Союзе еще и не видели.

Этот поток трофеев частично попадал в лапы жуликов и спекулянтов, но в очень большой своей части он оседал в квартирах высокопоставленных коммунистов всех рангов. Очень большая часть всех полученных разными путями продуктов и товаров превращалась в деньги, а затем в твердые ценности: золото и драгоценные камни, антикварную мебель, персидские ковры. Все шло по классической формуле Карла Маркса: "Товар — деньги — товар". Недаром же все они были "образованными марксистами".

Продуктами дамы из нашего дома спекулировали на двух близлежащих колхозных рынках. Конечно, они не ходили туда сами, и даже своих работниц они остерегались вовлекать в свою спекулятивную деятельность. Посредницами между ними и рынками были, главным образом, молодые женщины и девушки, служившие в пожарных командах, о которых я упоминала выше. Эти женщины несли круглосуточное дежурство, после которого они были три дня свободны. В эти дни они и выполняли поручения своих знатных хозя-

ек. Любопытно, что милиция и агенты "органов" никогда этих посредниц не трогали. Они торговали широко и систематически и, конечно, не могли остаться незамеченными. Но блюстители закона отлично знали, на кого они работают, и прекрасно понимали, чем грозит им самим проявленное не в меру служебное усердие.

Предметы более дорогие -- меха, платье, обувь -- реализовали не на колхозном базаре, а через подпольных скупщиц, которых знала вся Москва, и у которых можно было найти все, что угодно. А для большего удобства к концу войны открылось много государственных комиссионных магазинов, где по сумасшедшим ценам продавались предметы антиквариата, изысканный фарфор, картины, ковры и т.п. Как-то из любопытства я заглянула в один из таких магазинов и увидела там очаровательный старинный столик с доской из малахита. Цена его составляла двухгодичное, а может быть, и трехгодичное жалование моего мужа-профессора. Были же, значит, люди, продававшие и покупавшие такие вещи. А для сбыта и покупки золота, драгоценностей, валюты были другие, подпольные, но достаточно надежные каналы.

Спекулировали в нашем доме почти все, за исключением разве семьи Шверника, будущего Президента СССР (Председателя Верховного Совета), Красиковой, Савельевой, Стасовой, Бельских и еще нескольких уцелевших старых большевиков. Не спекулировали и семьи случайно оказавшихся в доме интеллигентов: академика Тарле, профессора Парина ...

Но новой знатью, людьми сталинской породы, бес наживы овладел почти поголовно, и эта страсть к наживе сразу бросилась мне в глаза как самая яркая черта различия между ними и прежним поколением большевиков, среди которых прошла моя молодость. Говоря о годах Великого Голода, я указывала уже, что и тогда высокопоставленные старые большевики жили широко и привольно, не терзаясь мыслями о страданиях народа, погибавшего от созданного их партией голода. Но стремления к наживе, к накоплению ценностей у них не было, и продуктами, которые они получали, они не спекулировали. "Новым" же, а особенно их женам, нужна была не только широкая и изобильная жизнь. Им нужно было наживать капитал и накапливать ценности.

Они покупали, например, во всяких закрытых мастерских по многу пар модных в то время высоких дамских сапог, платили за них по 57 рублей за пару, а продавали по цене в полторы-две тысячи рублей. Это, впрочем, еще мелочь. Я обратила внимание на то, что у каждой из этих дам, как по стандарту, имелись две меховые шубы — котиковая и каракулевая. А кто познатнее или пожеднее обзаводился и третьей — норковой. Я спросила как-то одну из своих знакомых, как все это добывается. "Очень просто,— спокойно разъяснила мне она,— мы получаем по две шубы с базы, одну продаем, а другая остается нам, да еще с прибылью".

Изредка кое-кто из них терял чувство меры и начинал "брать не по чину". Чтобы замять скандал, приходилось его в назидание остальным на-

казывать. Такие случаи, впрочем, бывали редки, и мне запомнилась только одна история.

Жил в нашем доме известный герой-полярник Петр Ширшов. Неизвестно за какие заслуги его назначили министром — не то авиационной промышленности, не то речного транспорта, не помню, но это значения особого не имеет. Все равно ведь ни в авиационной промышленности, ни в речном транспорте он ничего не понимал, да это и не требуется от коммуниста-руководителя. И жила в Москве прехорошенькая молодая кино-артистка Гаркуша, особа весьма предприимчивая и решительная. Выбрав подходящий момент, она бросилась под колеса машины, на которой министр Ширшов выезжал со двора. Особого риска в этом не было: машина шла почти шагом, а шофер у министра был опытный и осторожный.

Стратегический замысел удался. Ширшов, как истый джентльмен, вышел из машины, поднял и усадил туда свою хорошенькую жертву и отвез ее в Кремлевскую поликлинику. Там врач не нашел ничего, кроме легких ушибов, и отпустил "жертву автомобильной катастрофы" домой. Но знакомство состоялось и вскоре благополучно завершилось законным браком, а в положенный срок и рождением прелестной девочки. Говорили, что Ширшову пришлось для этого развестись с женой, от которой у него было двое детей. Не уверена, что это так, но значения это не имеет. Через что не перешагнет человек, обуреваемый страстью.

Дорвавшись до "dolce vita", Гаркуша пустилась во все тяжкие ихватила через край. Просто

спекулировать продуктами — это было для нее недостаточно. Она занялась и делами покрупнее. Получила, например, из разных мастерских крупную партию (говорили, 70 пар) модной дамской обуви и сбывла ее через комиссионные магазины. Получала из государственных складов старинную мебель, люстры, дорогие меха, предметы антиквариата и превращала все это в драгоценности.

Размах спекуляций жены министра принял скандальные формы и вышел даже за весьма широкие рамки допустимого для знатных коммунистов. В назидание другим ее арестовали и послали на 8 лет в лагерь, где она, кажется, погибла. Ширшова сняли с поста министра. Очень жалела я только маленькую, бегавшую по дворам золотоволосую девочку, которая осталась без мамы.

Спекуляцию в нашем доме эта расправа, впрочем, не остановила. Жадность овладела ими бесповоротно, и спекуляция продолжалась. Развелись стали поосторожнее, спекулировали с большей оглядкой.

Спекулировали по-крупному, но не брезговали и мелочами. Жил, например, в нашем доме генерал-лейтенант Красильников, занимавший какой-то очень важный пост в интендантском управлении Советской Армии. Помнится мне, что был он заместителем начальника этого управления. Его жена, как и все знатные жены, спекулировала продуктами, которые интендантский генерал получал в изобилии. Я сама иногда покупала у нее продукты и картофель. Цены она брала такие же, как на рынке, но мне это было все же удобнее, не нужно было таскать картофель с рынка.

Подошло Рождество и Новый Год. Нам очень хотелось украсить елку для ребенка. Вырос он в военные годы и, хоть голода не знал, но шоколада, пирожных, игрушек не видел. Хотелось устроить ему первый праздник в его короткой жизни, и мы собрались на рынок купить маленькую елочку. В это время генерал Красильников отправил двух своих адъютантов в лес срубить елку для него. Такие порубки, замечу, простым смертным были строго запрещены и сурово карались. Адъютанты перестарались и привезли два огромных дерева, которые и в комнату внести нельзя было. Одно из них, побольше, было тут же продано, а с другого пришлось спилить верхушку. И вот эту верхушку елки, незаконно срубленной в государственном лесу, я приобрела по спекулятивной цене у генерала Советской Армии, заслуженного члена Коммунистической Партии СССР. Купила в годы Великой Отечественной Войны.

Порывшись в памяти, я могла бы рассказать еще и много других таких же историй. Но к чему? Я ограничусь рассказом о жизни и нравах только одной чрезвычайно высокопоставленной семьи, с которой по случайному стечению обстоятельств мне пришлось познакомиться несколько ближе. Это семья Николая Байбакова, который позже стал человеком № 2 в советском правительстве — первым заместителем премьер-министра и председателем Государственной Плановой Комиссии. Он занимает эти посты по сей день. В ту пору, когда я с этой семьей познакомилась, Байбаков был еще очень молод, но карьера его уже начала складываться необычайно

успешно: в 32 года он уже был министром союзного правительства. Еще учась в Нефтяном Институте, Байбаков стал там секретарем комсомольской (а может быть, партийной) организации. Во всяком случае он сумел завязать нужные связи в партийных кругах и попал в списки молодых, намеченных к выдвижению коммунистов. По какому принципу такие списки составлялись понять невозможно. Вероятно, просто "рыбак рыбака чует издалека". Кто-то наверху почувал, что Байбаков — человек их породы. Не успел Байбаков поработать какое-то очень короткое время инженером на нефтяных промыслах, как его вызвали в Москву и сразу назначили заместителем, а через короткое время и Министром Нефтяной Промышленности. На этом посту он и находился в 1945 г., когда я познакомилась с его женой Клавдией.

Наше знакомство началось на "деловой" почве: время от времени я покупала у нее (по рыночным ценам, конечно) немного сахара, масла, яиц для ребенка. Позже нам довелось познакомиться несколько ближе. Через год, когда моему сыну было 5 лет, я организовала "прогулочную группу" из шести детей того же возраста, живших в нашем доме, и подыскала для этой группы воспитательницу, девушку, окончившую Институт Иностранных Языков в Москве и не нашедшую себе работы в военное время. Мы с мужем всегда считали, что детей нужно начать обучать иностранным языкам в самом раннем возрасте, когда они осваивают устную речь и произношение значительно легче, чем позже. Воспитательница гуляла

с детьми часа два-три в день, играла с ними часа два поочередно в одной из квартир и помаленьку приучала их к английской речи. В эту группу детей входил и Павел Литвинов, внук многолетнего советского министра иностранных дел Максима Литвинова. Позже Павел Литвинов стал очень известным диссидентом и эмигрировал в США.

Узнав об этой группе, Клавдия Байбакова попросила меня включить в нее и ее дочь Таню, ровесницу моего сына. На этой почве и состоялось наше более близкое знакомство, которое проявило мне многое в нравах и психологии этой среды.

Меня поразили не роскошь и изобилие, в которых жила в эти военные и послевоенные годы семья коммуниста-министра. К этому я привыкла. Конечно, кроме огромной пятикомнатной квартиры в Доме Правительства, в которой жили Байбаковы с двумя детьми, у них имелась и чудесная правительственная загородная дача — дом в 13 комнат с огромным садом. Конечно, в городе имелась кухарка и няня маленького сына, а кроме того жила в доме родственница Байбакова тетя Поля, исполнявшая обязанности экономки и воспитывавшая Таню. А на даче, полностью обставленной всей казенной мебелью и утварью, была еще одна кухарка, горничная и садовник. Он же ухаживал за имевшейся на даче коровой-рекордисткой, доставленной из какого-то племенного питомника. Для питания коровы была построена небольшая силосная башня. Садовник доил корову и сбивал масло на имевшемся сепараторе (тоже казенном, конечно). А масло это продавалось по диким ценам на черном рынке.

Конечно, имелись две машины с шоферами: одна обслуживала министра, другая — его семью. Конечно, пользовались Кремлевской столовой и всевозможными закрытыми базами снабжения. Конечно, как сказала мне Клавдия, ее муж получал жалованья 27 000 рублей в месяц, что превышало заработную плату профессора раз в шесть-семь, а заработную плату инженера, врача, квалифицированного рабочего — раз в 20-25. Конечно, кроме того Байбаков получал и "конверт". Нужно пояснить, что это такое. Так как поднимать неограниченно заработную плату партийных боссов было неудобно, то был найден другой остроумный выход. Все ответственные коммунисты получали каждый месяц, кроме своей заработной платы, размер которой нельзя было держать в секрете, еще и закрытый конверт с деньгами. Сколько там было денег, по каким тайным спискам и из каких фондов эти добавки распределялись, — этого никто из простых людей не знал. Да и само существование "конвертов" было секретом, впрочем, секретом Полишинеля. О них знали и о них говорили все. Конечно, Байбакова, как и все прочие знатные жены, вела отчаянную спекуляцию продуктами. Все это меня не удивило. Все это было обычно для среды партийной элиты, населявшей Дом Правительства.

То новое, что я увидела, познакомившись ближе с Байбаковыми, и что глубоко потрясло меня, — это была беспредельная жадность, бесчувственность и эгоизм людей из этой среды. На одном подъезде с нами, двумя этажами выше, поселился во время войны известный советский физиолог,

профессор Парин, занимавший важные посты в руководстве Академии Медицинских Наук. В 1947 г. его послали в США, где он должен был прочесть несколько лекций в американских университетах и наладить связи между советской и американской медицинской наукой. Большую часть гонораров, полученных им за эти лекции, он с разрешения посла истратил на оборудование для своей лаборатории в Университете, но это не избавило его от горькой участи: в первую ночь по приезду он был арестован и обвинен в выдаче американцам каких-то важных секретов. По-видимому, в основе этого обвинения лежало то, что в своих лекциях он упоминал о тогдашней московской сенсации — очередном "открытии" радикального средства лечения рака. Открытие это, якобы, было сделано профессорами Раскиным и Ключевой. Их работы носили чисто научный характер, и в шумихе, поднятой вокруг них, они сами не были виноваты. Профессоров не арестовали, но все же судили так называемым "судом чести", т.е. публично ошельмовали на многолюдном собрании научных работников и заклеили позором как "космополитов". В вину им ставилось то, что они опубликовали свои результаты в открытой печати и даже, кажется, за рубежом.

А ведь речь шла не о новом смертоносном оружии, а о новом методе лечения рака. Так или иначе, профессора отделались неприятностями, а бедняге Парину пришлось отсидеть во Владимирской тюрьме до самой смерти Сталина. Только хрущевская реабилитация вернула его снова в партию и на высокие посты в Академии Наук.

С женой Парина Ниной я была до ареста ее мужа просто знакома. С Байбаковой же Нина Парина была приятельницей. Они жили вместе в эвакуации и родили своих младших сыновей в одном родильном доме и в одно время. Само собой разумеется, что когда Парина арестовали, а Нина осталась без всяких средств к существованию с четырьмя детьми, то Байбакова, как и все партийные дамы нашего дома, от нее отвернулась и даже при встрече не здоровалась. Мы же, беспартийные, старались проявить к ней максимум внимания, как-то подбодрить ее и помочь, чем могли.

Однажды Нина Парина попросила меня отнести Клавдии нейлоновое белье и чулки, которые ей привез муж из США, и обменять это на масло и сахар для маленького Алешки. Я пошла с этим "товаром" к Байбаковой, у которой глаза загорелись при виде заграничных тряпок, бывших в то время в Москве новинкой. Начался длительный меновой торг. Посмотрели бы вы, как упорно, с какой жадностью торговалась эта жена министра и сама коммунистка за каждые 100 грамм масла для голодного ребенка ее вчерашней приятельницы. В конце, закончив переговоры, я сказала ей: "Вы бы хоть десяток яиц дали для маленького Алешки. Он так любит их и плачет, потому что Нина не может дать их ему". Нехотя она отсчитала мне десяток яиц, но какой жадностью горели при этом ее глаза.

Как-то раз, не выдержав, я прямо спросила ее: "Зачем вы так спекулируете? Зачем вам это? Ведь у вас и так все есть". "Вы не понимаете нашего положения, — разъяснила мне Клавдия. —

Ваш муж профессор и будет профессором завтра. Вы можете быть спокойны. А мы ... мы калифы на час. Сегодня мой муж — министр и у нас все есть, а завтра он может прийти в министерство и увидеть, что от него все отворачиваются. А придя к себе в кабинет, он прочтет в газете о том, что он уже не министр, что он — ничто. Пока у нас есть возможность, я хочу обеспечить себя и семью ... От хорошей жизни к плохой переходить очень трудно”.

Самого Байбакова ”минула чаша сия”. Судьба, хоть и не без некоторых срывов и понижений, вознесла его на вершину советской иерархии. Но слова Клавдии прояснили мне очень многое в психологии всего сталинского племени. Как бы высоко ни возносила их судьба, их всегда терзала тревога и неуверенность в своем положении. Они в глубине души ощущали всю эфемерность, случайность, внутреннюю необоснованность своего возвышения. Завтра такая же случайность, какая вознесла их, могла их и сбросить. Принципов и идеалов уже не было никаких, и все это порождало психологию ”калифов на час”: Хоть день, да мой! Рви сегодня, что можно! Неизвестно, что будет завтра!

И рвали, рвали безрассудно, оголтело, без оглядки и укоров совести. Как-то раз Клавдия Байбакова позвонила мне по телефону и пожаловалась: ”Ах, у нас такие неприятности: треснула дека на рояле”. — ”Да как же это случилось?” — ”Видите ли, мы не знали, что нельзя ставить рояль у батарей центрального отопления. Вот дека и треснула”. — ”Ничего, — пыталась я ее утешить,

—отошлите рояль в государственную мастерскую, там деку заменят новой”. — “Что вы, что вы, — всполошилась Клавдия, — разве вы не заметили, что у нас в гостиной концертный рояль Стейнвей, привезенный из Германии? К нему здесь деку не заменить”.

Концертный Стейнвей? Для кого и для чего? В это время роялей не хватало в Московской консерватории, и студенты часами ждали своей очереди поработать. Не хватало роялей для провинциальных театров, концертных залов, рабочих клубов. А уж о Стейнвее не могли мечтать и самые выдающиеся музыканты. Когда много лет спустя Мстислав Ростропович, вернувшись из своего триумфального зарубежного турне, привез рояль Стейнвей в подарок своему другу, знаменитому композитору Шостаковичу, это было сенсацией и радостью для всей музыкальной и театральной Москвы. А тут “трофейный” Стейнвей стоит на квартире коммунистического министра только для мебели и для того, чтобы на нем могла бренчать одним пальчиком шестилетняя Таня. И никого это не смущает, ни в ком не вызывает осуждения и протеста.

В другой раз как-то весной 1947 г. Клавдия зашла ко мне, чтобы вернуть мне деньги, которые я заплатила за нее воспитательнице наших детей. На следующий день она собиралась уехать на все лето с детьми и няней в какой-то правительственный санаторий на Кавказе. “Ну, — сказала она довольно, — все в порядке. Салон-вагон уже пригнали, и он стоит на путях”. — “Какой салон-вагон? — спросила я. — Разве ваш муж то-

же едет?” — “Нет, едем только мы, ну и, конечно, проводники, повар, охрана”. Я не выдержала: “Неужели вам, — спросила я, — не совестно гнать через всю страну тяжелый вагон-салон для себя с детьми и няней? Ведь сейчас еще (время было послевоенное) тысячи людей с маленькими детьми по многу суток валяются на всех железнодорожных станциях в ожидании возможности добраться домой. Ведь прицепка к составу вашего салона-вагона означает, что не будут прицеплены один или два пассажирских вагона и что еще несколько сот истомленных людей не смогут уехать. Неужели вы не могли ограничиться отдельным купе в мягком вагоне?” — “Ну и что же, — улыбнулась Клавдия. — Ведь мы калифы на час. Почему мне не использовать сегодня свои возможности?”

Были дела и покрупнее. Как-то Байбакова уехала на несколько недель в Чехословакию, подлечиться в Карловых Варах. Тогда такие поездки были очень модны среди наших знатных дам. Наживались они на этих поездках основательно, да и хотелось взглянуть хоть одним глазком на “почти буржуазный” мир. Когда Клавдия вернулась, мне как-то раз позвонила Евгения Аллилуева и сказала: “Пойди, погляди на Клавдию. Она вся осыпана кольцами, браслетами, серьгами. И, верь мне, это не чехословацкая стеклянная бижутерия, а настоящие камни”. Я зашла к Клавдии и обомлела: она гремела драгоценностями. “Это бижутерия? — спросила я. — “Что вы? Это подлинное”. — “Как же вы все это раздобыли?” — “А это нужно уметь”, — загадочно улыбнулась жена министра.

Я хотела рассказать здесь только о том, что я видела и слышала сама, с чем сталкивалась повседневно, живя в Доме Правительства. Именно поэтому в моих рассказах фигурируют почти исключительно женщины, жены сильных мира сего, и почти ничего не говорится об их мужьях. Это искажает перспективу. Конечно, главную ответственность за весь этот разгул спекуляции, за все разложение несут именно мужья, управители советского государства. Ведь именно они, в чьих руках находятся все материальные ценности, созданные трудом народа, именно они построили всю систему закрытого, привилегированного снабжения. Они создавали все эти столовые, базы, склады, ателье, санатории и заботились о регулярном и изобильном снабжении их продуктами и товарами. А потом, конечно, им легко было передать в руки жен "черную" работу по реализации излишков и, блюдя чистоту своих партийных риз, делать вид, что они ничего не знают о спекулятивной деятельности своих жен. Это тоже ложь и лицемерие. Не мог Байбаков не знать о деятельности Клавдии, как не могли не знать все прочие высокопоставленные деятели о спекуляциях, которыми занимались их жены. Произошло естественное "разделение труда" — мужья грабили и обеспечивали поступление добычи, жены реализовали эту добычу на черном рынке.

Те разрозненные эпизоды и случаи, которые я описала как очевидец дают, как мне кажется, достаточно ясную картину стиля жизни и нравов той части партийной элиты, которая жила в Доме Правительства. Но ведь это была только очень малая часть страшно разросшегося нового пра-

вящего класса. Те же нравы и то же глубочайшее разложение характеризовали все высшие эшелоны партии, независимо от того, где эти люди жили. Этот процесс шел не только в центре, в Москве. Рыба, загнив с головы, сгнила до самого хвоста.

Я не могу окончить эту часть моих воспоминаний, не рассказав о самом чудовищном по своему цинизму проявлении того безграничного себялюбия, которым была проникнута вся среда новой знати. Работавшая на нашем подъезде женщина-вахтер получила извещение о том, что сын ее погиб на фронте, погиб 8 мая, в последний день войны. Она сидела у своего стола в вестибюле и горько рыдала, когда я спустилась вниз в лифте. Я подошла к ней и, узнав, о чем она плачет, постаралась, как могла, утешить ее, хоть всплакнуть с ней вместе. Подошла к нам какая-то из наших высокопоставленных дам и сказала: "Ну что ты плачешь? Война, всем тяжело. Ты подумай, каково нам-то теперь будет. Кончится война, отменят все карточки, установят единые цены. Как мы жить-то будем?"

Конечно, баба эта была не только самым омерзительным созданием, какое мне приходилось видеть, но и совершенной душой. Другие были умнее и такой циничной откровенности себе не позволяли. Но пренебрежение страданиями простого народа, беспредельный эгоизм, сосредоточение всех интересов на заботах о собственном благополучии, — это и было основной доминантой во взглядах и психологии всей этой среды. Жен и мужей. Да у последних еще и ничем не сдерживаемая жажда власти.

Страна доносчиков и шпионов

Осуществление массового террора немыслимо без наличия столь же массовой армии агентов и доносчиков. И такая армия была создана. Количество доносчиков, работавших на "органы безопасности", было чудовищно, уму непостижимо. Ведь через сталинские тюрьмы и лагеря прошли десятки миллионов жертв, а значит примерно таким же было и число доносчиков. Ибо, если на счету многих доносчиков было по несколько жертв, то, с другой стороны, на многих арестованных поступало по несколько доносов.

Доносили все на всех. Доносили из страха и корысти ради. Доносили для извлечения мелких или крупных житейских выгод. Доносили на соседей по квартире, чтобы заполучить лишнюю комнатенку. Доносили на товарищей и сослуживцев, чтобы продвинуться по службе. Доносили мужья на жен и жены на мужей, часто для того, чтобы разделаться с нежеланным супружеством и сохранить за собой вожденную "жилую площадь". Доносили и предавали родители детей и дети родителей. Недаром советские дети десятилетиями воспитывались на рассказах о героическом подвиге Павлика Морозова, который предал и выдал на смерть своего отца-"кулака", замыслившего злое против "доброй" советской власти.

Были разрушены все нормальные человеческие связи между людьми, были попорчены все моральные нормы. Воспитанное коммунистической системой общество пало так низко, как, вероятно, не падало ни одно общество в истории человечества. Человеку Запада, человеку свободного мира трудно, если не невозможно, представить себе эту чудовищную систему в действии. Быть может, ему поможет мой рассказ о нескольких конкретных случаях предательства.

Через некоторое время после того, как Сталин убил Павла Аллилуева, вдова убитого вышла замуж вторично. Ее вторым мужем был инженер Николай Молочников, с которым она была знакома давно, еще по годам работы в Берлине. Несмотря на свое русское имя и фамилию, Николай Молочников был евреем, и это, конечно, вызвало страшное раздражение заядлого антисемита Сталина, который и родной дочери не мог простить замужества с евреем. И уж, конечно, зная характер Сталина, можно легко представить себе, как обидно ему было, что Евгения, отвергнув его притязания, предпочла ему еврея.*

За некоторое время до женитьбы на Аллилуевой жену Молочникова, от которой он имел двух детей — сына и дочь — по чьему-то навету арестовали, а самого Молочникова с детьми выселили

* Любопытно, что Николай Молочников был сыном известного последователя Толстого, о котором пишет в своих воспоминаниях графиня С.А. Толстая.

из занимаемой квартиры. Как это положено в хорошем советском обществе, Молочников, конечно, предал арестованную жену, отрекся от нее и "вженился" в высокопоставленное семейство Аллилуевых. У Евгении самой в это время было трое детей. Она занимала большую пятикомнатную квартиру в Доме Правительства, где новая семья с пятью детьми и прожила до самого ареста Евгении Аллилуевой в конце 1947 г.

Мне Молочников был чем-то очень неприятен, да и он относился ко мне без особой симпатии. Поэтому отношения у нас с ним были весьма прохладными, хотя какие-то формы знакомства приходилось поддерживать, поскольку он был мужем моей горячо любимой Евгении.

Вместе с Аллилуевыми (Евгенией и Анной), нами и многими другими людьми был арестован в 1947 г. и Молочников, который так же, как и мы, просидел в тюрьме до смерти Сталина. Когда всех нас освободили и реабилитировали, Молочников очень стремился вернуться к Евгении, но она категорически отказалась от продолжения брака и порвала с ним все отношения. Когда же я спросила ее: "Женя, почему ты выгнала Николая?", она ответила мне: "Ты была права в своей антипатии к нему. В ходе следствия мне стало совершенно ясно, что он был агентом МГБ, специально приставленным ко мне и в течение многих лет дававшим органам детальнейшую информацию обо мне и всех моих друзьях". Это, очевидно, и называется "здоровая советская семья".

В бредовом мире советской тайной полиции тоже все предают всех и все изменяют всем. Тот

факт, что Молочников был одним из "своих", тайным агентом, посланным в дом Аллилуевых, чтобы собрать материал для ареста его жены, насколько не помешало его начальникам посадить и его вместе с нами в тюрьму на долгие годы. Дело было сверхсекретное, Молочников знал слишком много и его нужно было изолировать "для пользы дела", чтобы предотвратить утечку информации. А "для пользы дела" коммунисты могут сделать все, что угодно. Если бы понадобилось, Молочникова и расстреляли бы без всяких сомнений и колебаний.

Этот "свой" Молочников, впрочем, тоже не постеснялся предать своих предавших его начальников, когда к тому представилась возможность. Следствие по нашему делу вели два помощника начальника следственной части МГБ по особо важным делам: полковники МГБ Комаров и Лихачев. После смерти Сталина и ареста Берии их обоих тоже арестовали и предали суду вместе с Министром Госбезопасности Аббакумовым. Суд состоялся в Ленинграде, и всех троих по приговору этого суда расстреляли. Когда этот процесс подготавливался, помощник Главного Военного Прокурора Д. Терехов вызвал меня и предложил мне поехать на этот процесс свидетельницей, чтобы рассказать суду о незаконных методах следствия, то есть о пытках и издевательствах, применявшихся этими людьми. Я отказалась от этого предложения — не потому, что жалела или щадила этих палачей (они свою пулю полностью заслужили), но просто потому, что мне было невыносимо тяжело снова увидеть их.

А вот Молочников, тот ухватился за это предложение с радостью, и на суде подробно, обстоятельно, со вкусом рассказал все, что мог, о деятельности своих бывших начальников, чтобы угробить их.

Таков один клубок доносов, предательств, измен. А вот другой. Мой второй муж, профессор Л. Тумерман, физик, работал в течение многих лет в Физическом Институте им. Лебедева Академии Наук СССР в Москве. В том же институте, еще до переезда его из Ленинграда в Москву, работала и некая Ида Гольдман. Работала она в лаборатории небезызвестного Бенциона Вула, добившегося позже звания Героя Труда и титула члена Академии Наук, хотя научных заслуг для столь высоких отличий у него не было никаких. Сработали, очевидно, иные "заслуги" и партийный билет. Оба они — Гольдман и Вул — были весьма ортодоксальными и абсолютно послушными членами партии, никогда ни на какое своемыслие не решавшимися. Друг с другом они были связаны многими годами совместной работы и дружескими отношениями.

Гольдман была женщиной уже не первой молодости и особой привлекательностью не отличалась. Личная жизнь ее долго не налаживалась, но в середине тридцатых годов она, наконец, вышла замуж и родила сына. К несчастью, однако, она не доглядела, что муж ее родился в Хабаровске, принадлежавшем тогда Манчжурии. Этого, конечно, оказалось достаточным, чтобы в 1937 или 1938 году его арестовали. Он исчез бесследно. Вероятнее всего, погиб.

Саму Гольдман не арестовали, но, как полагается, исключили из партии "за потерю бдительности". В тот же день Вул, ее многолетний товарищ по работе и по партии, заявил, что работать она у него в лаборатории больше не может, ибо там якобы ведутся закрытые работы. Это была прямая ложь. В части лаборатории Вула действительно велись какие-то закрытые работы, но большая часть лаборатории работала по совершенно открытой тематике, и там Гольдман вполне могла бы продолжать работу, если бы не постыдная трусость Вула. Это жалкое и подлое поведение Вула в полной мере характерно для всей партийной среды в те годы. Как только дубинка МГБ обрушивалась на голову кого-нибудь, сейчас же все его многолетние друзья, соратники, люди, знавшие его всю жизнь, мгновенно от него отрекались, отворачивались, предавали его и присоединялись к хору голосов, вопивших: "Распни его!" Если в беспартийной среде еще находились иногда (не очень часто) люди, сохранявшие верность арестованным близким, не предававшие их, то в партийной среде таких почти не было. Там чувства товарищества, верности, чести были вытравлены полностью и навсегда.

Так или иначе, Гольдман по вине Вула должны были уволить из института, и положение для нее создавалось совершенно безнадежное. Тот, кто хоть сколько-нибудь представляет себе атмосферу в России в эти годы разгула сталинского террора, понимает, что ни одно научное учреждение и ни одно предприятие не могли бы принять на работу жену арестованного, женщину, исключен-

ную из партии, уволенную с прежней работы. Трудно представить себе, что делала бы эта женщина, оставшись в таком положении с маленьким ребенком на руках.

Спасли ее директор Института академик Сергей Вавилов, будущий Президент Академии Наук, и мой муж, которому Вавилов полностью доверял, потому что они были связаны многими годами совместной работы и взаимного уважения. Как-то часов в шесть вечера, когда в Институте уже почти никого не было, Вавилов пришел в лабораторию моего мужа и конфиденциально сказал ему: "Вы знаете, конечно, о положении Иды Гольдман. Куда она денется, если мы уволим ее? Нужно спасти человека. Нужно дать ей возможность пересидеть где-нибудь страшное время. Я знаю, что она — не оптик, и вам в вашей работе никакой пользы принести не может. Это не важно. Если вы не боитесь и согласны, то я переведу ее в вашу группу".

Муж, конечно, согласился, и Гольдман просидела три года под его крылом, ничего почти не делая, но получая заработную плату. Конечно, главная заслуга здесь принадлежит Вавилову, и нет слов, чтобы оценить человечность и благородство его поступка. Но ведь и мой муж не побоялся пойти на риск, значительно больший, чем тот, которого испугался ее старший друг и партийный товарищ Вул. А спасти ее без согласия моего мужа и Вавилов не мог бы. Кажется есть за что испытывать элементарное чувство благодарности. В течение тех трех лет, пока Гольдман отсиживалась в лаборатории моего мужа, и я сделала для

нее немало доброго. Ребенок был слабым, непрестанно болел, а время было очень трудное. Нужно было добывать для него лекарства, фрукты, и я все это делала. Говорю я об этом не себе в заслугу, а только чтобы показать, что у нее были все основания быть благодарной нам обоим. И вот как она нам отплатила.

Началась война. Ребенок Гольдман был эвакуирован с детскими садами Академии за Урал, на курорт Боровое. Туда же перебралась и Гольдман, которая доблестно трудилась для победы все военные годы, устроившись на должность электромонтера в том же детском интернате, где жил ее ребенок. Году в 1944-м, уже после нашего возвращения в Москву, она вдруг снова объявилась в Физическом Институте и начала работать в лаборатории, выделившейся из лаборатории Вула и руководимой его бывшим сотрудником Сканди (конечно, тоже членом партии). Мы по наивности не придали этому никакого значения и даже порадовались, что вот, дескать, как хорошо, что она снова получила возможность работать по специальности.

Станным показалось нам лишь то, что она вдруг зачастила к нам, причем всегда приходила без предупреждения по телефону, хотя в Москве такие неожиданные визиты между не очень близкими людьми неприняты. А то вдруг она приходила к нам с сыном на весь воскресный день, хотя ее сын был лет на шесть старше нашего и играть друг с другом они не могли. Не придали мы особого значения и тому, что во время своих визитов к нам и при посещении лаборатории мужа

она постоянно заводила разговоры на политические темы и старалась выяснить наше отношение к разным событиям. Так, незадолго до денежной реформы 15 декабря 1947 года, в которой деньги были девальвированы в 10 раз, она неожиданно пришла ко мне вечером и стала расспрашивать меня о том, что я делаю со своими деньгами, что говорят о реформе и что делают жены ответственных работников, живших в нашем доме. Я ответила ей, что больших капиталов у нас нет, а наши небольшие сбережения лежат в государственной сберегательной кассе и будет с ними то же, что и с деньгами всех остальных советских граждан. Что же касается высокопоставленных жен, которые вели в то время безудержную спекуляцию и в предвидении денежной реформы бешено скупали все, что имело реальную ценность, то с ними я вообще не общаюсь. Но никакие подозрения и тогда не пришли нам в голову. Думали мы, что она просто хотела разузнать у нас, как лучше защитить свои сбережения от девальвации.

И только во время следствия и мужу моему и мне стало совершенно ясно, что все последние годы Ида Гольдман была секретным агентом, специально приставленным к нам и передававшим в МГБ каждое наше слово. Против нас уже собирался материал, и у меня нет сомнений в том, что и в Физический Институт она была специально возвращена для этой цели. Вполне возможно, что и Вул знал об этой ее почетной миссии.

Когда после освобождения мы вернулись в Москву, то Гольдман понимала, конечно, что

ее роль в нашем аресте стала нам совершенно ясна. После нашего освобождения она была единственным из наших знакомых, кто даже не позвонил нам по телефону, чтобы поздравить нас. Когда же как-то на похоронах общего товарища по институту она случайно подошла к автомобилю, в котором сидел мой муж, и, открыв дверцу, увидела его, то она в панике захлопнула дверцу и убежала. "Знает кошка, чье сало съела".

Так понимают члены Коммунистической Партии Советского Союза слова честь и долг. Так они платят за оказанное им добро. И это вполне в духе той идеологии, которой вот уже шестьдесят лет забивают головы советских людей.

В тех двух случаях, о которых я рассказала, речь шла об агентурной слежке, организованном сборе информации об определенных людях. Но наряду с этой службой существовала и другая — служба контроля мыслей и настроений. В каждом учреждении имелся — несомненно и теперь имеется — штатный информатор или несколько информаторов, передававших в МГБ сведения о каждом "еретическом" слове, сказанном кем-нибудь из сотрудников, о всех настроениях и мыслях, сколько-нибудь отклоняющихся от принятого стандарта. Вот два примера из практики того же Физического Института Академии Наук СССР.

Как и во всех советских научных учреждениях, и в этом Институте, конечно, был организован "философский кружок", в котором научные сотрудники и профессора должны были в "добровольно обязательном" порядке осваивать основы философской мудрости марксистско-ленинского

диалектического материализма. Учитывая состав аудитории, из Центрального Комитета партии прислали для руководства этим кружком какого-то известного партийного "философа", который, впрочем, вскоре сбежал, не выдержав спора с аудиторией, гораздо более его искушенной в вопросах философии науки.

Однако, за короткое время работы кружка муж успел высказать там немало "еретических" мыслей. Прошло несколько лет, и уже перед войной он получил повестку из районного военного комиссариата, предписывавшую ему явиться на очередную перерегистрацию, имея при себе характеристику с места работы. Такой документ, подписанный так называемым "треугольником", то есть директором Института, секретарем партийной организации и председателем местного комитета профессионального союза, ему вручили в конверте за пятью печатями как документ сугубо секретный. С ним он и отправился в военный комиссариат, где его принял какой-то полковник, оказавшийся человеком разумным и деловым. Он вскрыл конверт, прочел лежавшую в нем бумагу, потом пожал плечами и сказал: "Что они у вас там совсем с ума сошли? Отдайте им это и скажите, чтобы они не писали нам глупостей".

Поскольку конверт был уже вскрыт, мы прочли эту секретную характеристику. Там были сказаны о муже разные официально лестные слова, дескать, талантливый ученый, добросовестный работник, ни в чем предосудительном не замечен и т. д., но "на занятиях философского

кружка высказывал взгляды, близкие к взглядам философа-идеалиста Маха" (это особо преступно, потому что Маха критиковал "сам" Ленин).

Полковник оказался умным, и никаких последствий эта история не имела. Но вдумайтесь: ведь это значит, что даже на занятиях философского кружка, где предполагается свободная дискуссия, каждая еретическая мысль, хоть сколько-нибудь отклоняющаяся от партийной догмы, кем-то тщательно отмечается, регистрируется, записывается, и эти записи годами хранятся в каких-то секретных архивах для использования "при надобности". В Советском Союзе это называется свободной философской дискуссией.

Вот и другой пример. До 1935 года в Советском Союзе аборт был свободен. Каждая женщина, которая по тем или иным причинам не хотела оставить ребенка, могла сделать аборт бесплатно в государственной больнице. Читатель первого издания Большой Советской Энциклопедии может с интересом узнать, что всякое ограничение права женщины на аборт есть порождение гнусного буржуазного общества, тогда как советская женщина сама вольна решать этот вопрос.

Тем не менее в 1935 году Сталин, вероятно, испугавшись данных о резком сокращении рождаемости в России, решил ввести закон, согласно которому аборт разрешался лишь по медицинским основаниям. Процедура введения этого закона была обставлена со всей лицемерной советской псевдодемократичностью. Проект закона был опубликован, а затем было проведено "все-народное" его обсуждение на всех предприятиях

и во всех учреждениях. Состоялось такое собрание и в Физическом Институте Академии. Здесь, конечно, все местные партийные руководители выступили в поддержку нового закона с восхвалениями мудрости и гуманности Сталина, а забитое стадо научных работников приготовилось единодушно проголосовать за новый закон, хотя в частных беседах многие из них (и прежде всего, конечно, женщины) высказывали свое крайнее возмущение этим законом. Идиллию единодушия снова нарушил мой муж, выступивший с заявлением, что "советская женщина — не корова, и нельзя заставлять ее рожать, если она по каким бы то ни было соображениям не хочет ребенка". Как полагается, его "идеологически разгромили", объявив не то меньшевистствующим идеалистом, не то чем-то еще очень плохим, после чего все присутствующие (и женщины в том числе!) скопом проголосовали за мудрый и благодетельный Сталинский закон. А потом многие сотрудницы подходили к моему мужу и, краснея, благодарили его за выступление и голосование против закона. На том дело как будто закончилось.

Прошло без малого 20 лет, и в 1954 году, уже перед нашим освобождением, следователь КГБ из новых, назначенных в период "оттепели", сказал моему мужу с улыбкой: "Мы ведь знаем, что вы — фрондер. Вот, еще в 1935 году вы выступали против Сталинского закона об абортах". Это значит, что тут же на собрании, которое должно было "свободно" обсудить проект закона, кто-то немедленно настроил в органы безопасности

сообщение об имевшем место крамольном выступлении Тумермана. Этот документ пролежал в его досье 20 лет и, вероятно, хранится там по сей день как нетленный памятник советской демократии.

В ходе следствия мы имели возможность убедиться в том, что в органах безопасности такие "личные дела" были заведены на каждого человека, занимавшего сколько-нибудь заметное положение в обществе: на всех работников науки, литературы, искусства, на врачей, инженеров, учителей, хозяйственников, чиновников советского аппарата и т. д. Регистрировались все высказывания, поступки, события личной жизни, браки и разводы, любовные связи, даже мелкие пристрастия (хобби). Не всегда эти материалы немедленно приводили к аресту человека. Иногда они могли десятилетиями лежать в архивах, как бомбы замедленного действия. Но они давали тайной полиции возможность в любую минуту "выдернуть" любого человека и бросить его в свою гигантскую мясорубку. А тогда уже эти доносы использовались как доказательства его преступного образа мыслей или развратного поведения или чего-нибудь еще, что нужно было следовательно.

ТАЙНЫЕ УБИЙСТВА

ИОСИФА СТАЛИНА

Не может быть никаких сомнений в том, что Сталин несет полную моральную и политическую ответственность за смерть многих миллионов людей, убитых его подручными из "органов безопасности" и его "хунвейбинами" из "комбедов" (комитетов бедноты) во время принудительной коллективизации. На его совести лежит и смерть нескольких миллионов крестьян, погибших в невыносимых условиях ссылки в Сибирь или умерших в родной деревне от голода, сознательно и целенаправленно созданного коммунистической партией по плану и под руководством Сталина.

Но не об этих убийствах я хочу говорить здесь. Я хочу рассказать лишь о нескольких достоверно известных мне случаях, когда тайные убийства, совершенные Сталиным, носили так сказать персональный характер, когда Сталин убивал (почти всегда чужими руками) тех, к кому он питал личную неприязнь или от кого хотел избавиться, опасаясь разоблачения каких-то страшных тайн, нависших над ним с молодости.

Убийство Сергея Кирова

Первого декабря 1934 года молодой ленинградский рабочий Леонид Николаев выстрелом из револьвера убил Сергея Мироновича Кирова — одного из виднейших деятелей коммунистической партии, члена ее Политического Бюро и руководителя крупнейшей ленинградской партийной организации. По своему переломному влиянию на судьбы России в последующие десятилетия выстрел Николаева можно сравнить разве что с тем влиянием, какое имел на судьбы Европы и всего мира выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, убившего в 1914 году австрийского эрцгерцога Фердинанда. Но только выстрел Принципа был, по всей видимости, порожден стихийным национализмом, а выстрел Николаева был результатом продуманного политического замысла, коварству и хитрости которого мог бы рукоплескать сам Никколо Маккиавелли.

Выстрел Николаева, прежде всего, убирал с политической сцены самого опасного соперника, единственного возможного претендента на решающий пост генерального секретаря партии. Но этот выстрел принес Сталину и другую, быть может, еще более значительную выгоду. Он дал, наконец, ему, Сталину, долгожданную возможность создать аппарат неограниченного террора и пустить его в ход, прежде всего, для истребления всех, кто мог бы стать препоной на его пути, а затем и всей старой партийной "гвардии", которую он всегда ненавидел и которая была уже напугана его диктаторскими замашками.

Тщательный анализ всех ныне уже известных обстоятельств убийства Кирова, какой можно найти, например, в книгах Конквеста и Авторханова, не оставляет никаких сомнений в том, что никакая внутрипартийная оппозиция — ни "левая", ни "правая", ни изобретенная позже Сталиным "лево-правая" или "право-левая" — никакого отношения к этому убийству не имела, а было оно, это убийство, задумано, подготовлено и осуществлено Сталиным через посредство преданных ему людей в ОГПУ.

Это было признано и полуофициально в хрущевских разоблачениях "культа личности" на XX (1956 год) и XXII (1961 год) съездах партии. Полуофициально потому, что больно уж трудно было преемникам Сталина объявить официально, что признанный вождь партии, которому все они при его жизни курили фимиам и служили верно и преданно, был самым обыкновенным, хотя и очень ловким, уголовным преступником. Именно поэтому, очевидно, остается до сих пор неизвестным, что решила, да и собиралась ли когда-нибудь специальная комиссия, которой XX, а затем XXII съезд поручил расследовать роль Сталина в убийстве Кирова.

В том, что организатором и вдохновителем убийства Кирова был Сталин, теперь не сомневается уже никто. Но ведь стрелял то в Кирова не он, а Николаев. Кто же он этот ранее никому не известный Николаев? Почему он решился на этот самоубийственный акт? Что толкнуло его на это?

На эти вопросы мы не находим почти никаких ответов ни в исторической ни в мемуарной литературе. Да и о самой личности Николаева известно очень мало, почти ничего. Известно лишь, что был он простым, малообразованным ленинградским рабочим, членом партии, но не очень активным,* что из партии он был в 1934 году за нарушение дисциплины исключен, но позже восстановлен, что с марта 1934 года он был без работы. Вот, пожалуй, и все, что мы знаем о Николаеве, и уж совсем ничего неизвестно о его жене, которая фигурировала как свидетельница в следствии по этому делу и, по-видимому, потом была ликвидирована вместе со всеми свидетелями.

Я думаю, что скудость наших сведений о Николаеве и его жене не случайна, а объясняется тем, что ОГПУ очень уж тщательно поработало над тем, чтобы скрыть все следы, ведущие к раскрытию причин и обстоятельств убийства Кирова. Это и понятно, потому что выяснение личности Николаева и мотивировки его поступка представляет отнюдь не только психологический интерес. До

* Конквест пишет, что Николаев вступил в партию в 1920 году. Я думаю, что это ошибка, хотя бы потому, что ему было в то время всего 16 лет. По имеющимся у меня сведениям он был принят в партию в 1925 году, когда после смерти Ленина был объявлен так называемый "ленинский набор", и в партию принимали всякого, без разбора, было бы лишь подходящее рабоче-крестьянское происхождение.

тех пор, пока правда о причинах, побудивших Николаева решиться на это убийство, остается скрытой, трудно опровергнуть тщательно раздувавшуюся сталинским аппаратом версию о том, что Николаев совершил акт *политического террора*.

В это верят многие — может быть, большинство — даже сейчас, когда почти никто уже не сомневается в том, что это убийство не было делом рук партийной оппозиции. Одни думают, что все же Николаев был страстным и пламенным сторонником оппозиции и решил убить Кирова, так сказать, "на свой страх и риск", без согласия и даже без ведома своих политических руководителей. Другие склонны полагать, что Николаев был столь же яростным и пламенным сталинцем и совершил свой акт по прямому приказу вождя, который обещал сохранить ему жизнь.

Обе эти версии ни на чем не основаны, психологически совершенно неправдоподобны и никак не увязываются с известными нам фактами, в частности с тем, что незадолго до убийства Николаев был в Ленинграде арестован, привезен в Москву, на Лубянку, но очень скоро, вопреки всем обычаям ОГПУ, выпущен на свободу, да еще с сохранением партийного билета. Если он был сталинцем и "работал" по указаниям ОГПУ, то зачем ему было трезвонить по всему Ленинграду о своем намерении убить Кирова? И зачем его нужно было арестовывать и возить в Москву? Если же он был сторонником оппозиции, притом настолько опасным, что разбирать его дело должны были в Москве, то почему его так скоро и без всяких последствий освободили? Почему

ему сохранили партийный билет, дававший ему доступ в Смольный?

Чувствуя, очевидно, неправдоподобность и натянутость обеих этих версий, Конквест изображает Николаева как молодого революционера, "который не мог найти себе места во все более бюрократизирующемся обществе". По Конквесту, "он — типичный представитель молодого и энергичного, но буйного и неподатливого поколения, которое было сломлено новым режимом в партии. В отличие от других Николаев решил действовать". Потеряв работу, "он много и мрачно размышлял о перерождении партии. Он воображал себя мстителем в старом героическом русском духе". Коротко говоря, герой, сошедший со страниц Достоевского!

Эта литературно-социологическая версия Конквеста так же мала обоснована какими-нибудь данными и так же плохо согласуется с фактом ареста и освобождения Николаева, как и две предыдущие. Но, как и они, эта версия сохраняет за поступком Николаева характер акта *политического*, то есть тот самый характер, который так упорно внедрялся в сознание народа всем аппаратом советской пропаганды.

Придание поступку Николаева характера акта политического террора было, конечно, необходимо Сталину. Для того вся игра и была затеяна. Правда же заключается в том, что убийство Кирова Николаевым вообще ни с какой политикой не было связано, а было простым и обычным *убийством из ревности*, какие десятками проходят ежегодно в судопроизводстве всех стран. Полити-

ческим в этом деле было лишь то, что Сталин из своих политических целей сыграл в этой трагедии роль Яго. Он умело использовал безумную ревность Николаева, натравил его на Кирова и обеспечил ему возможность беспрепятственно осуществить задуманное им убийство.

Вот что мне известно об этом деле. Хотя Николаев и был членом партии, но никогда активного участия в партийной жизни не принимал, ни к каким оппозиционным группам не примыкал, в политической обстановке в партии и в борьбе разных группировок не разбирался, да и не мог разбираться в этом как по недостатку образования, так и потому, что он был в это время полностью поглощен своей глубокой личной трагедией. Его жена, молодая и красивая женщина, находилась в длительной и мучительной любовной связи с Кировым. Она требовала, чтобы Киров оставил свою жену и женился на ней. Киров же не мог бросить жену, с которой он прожил всю жизнь, но не мог и порвать свою связь с Николаевой.

Николаев был очень ревнив. Он знал о связи своей жены с Кировым и очень остро переживал это. А так как в Советском Союзе, особенно в партийных кругах, вошло чуть ли не в обычай улаживать свои семейные и интимные дела через партийные организации, то Николаев ходил по различным партийным инстанциям, искал "справедливости" и угрожал убить Кирова.

Дело дошло до того, что ленинградский прокурор Филипп Медведь приезжал в Москву, чтобы доложить об угрозах Николаева кому следует, в том числе и Красикову, который был в это время

прокурором Верховного Суда. Медведь предлагал разрубить этот узел, отправив Николаева на какую-нибудь низовую партийную работу в Сибирь или на Дальний Восток -- подальше от Ленинграда. Однако, когда об этом доложили Сталину, тот сразу сообразил, какие выгоды можно извлечь из ревности Николаева, и цинично сказал: "Хочет с ней спать, пусть спит. Не вмешивайтесь в это дело". К этому было добавлено несколько непечатных словечек из арсенала русской матерщины, которым Сталин владел в совершенстве.

Когда же Николаев окончательно "созрел" и был готов на любое безумство, Сталин распорядился арестовать его и привезти на Лубянку. Там его продержали недолго, соответственным образом обработали и отправили обратно в Ленинград, сохранив за ним партийный билет, дававший ему возможность свободно проходить во все партийные организации, в том числе и самые высокие. Позаботились и о том, чтобы у Николаева сохранилось оружие и чтобы с его пути к убийству Кирова были устранены все препятствия. Хорошо налаженная машина сработала безотказно.

Сама обстановка убийства также существенно отличается от официальной версии, которая принимается даже таким историком, как Конквест. По этой официальной версии, направленной на то, чтобы создать ореол вокруг имени Кирова, последний до самой роковой минуты "служил партии и народу". Он был занят составлением доклада о Пленуме Центрального Комитета, с

которого он только что возвратился и о котором он должен был доложить активу ленинградской партийной организации. В 4 часа 30 минут он вышел из своего кабинета и пошел по направлению к кабинету второго секретаря областного комитета Чудова. (Заметим в скобках, что всякому, знакомому с обычаями и тонкостями советской служебной субординации, сообщение о том, что Киров, член Политбюро и первый секретарь обкома, шел к Чудову, служебное положение которого было неизмеримо ниже, должно показаться сомнительным. По всем правилам и нормам Киров должен был вызвать Чудова к себе, если он ему понадобился.)

Далее, по официальной версии, едва Киров сделал несколько шагов по коридору, как из-за угла появился Николаев и выстрелил Кирову в затылок. Киров пал, так сказать, "на боевом посту", до последней минуты исполняя свой партийный долг. Картина получается, что ни говори, героическая и по одному тому уже внушающая подозрение.

В том кругу людей, в котором я жила, картина убийства Кирова рисовалась совершенно иной. Николаев с оружием не только свободно проник в Смольный, который в этот день почему-то очень плохо охранялся, но и беспрепятственно дошел до кабинета Кирова, где в это время находилась жена Николаева. Кто знает, быть может, и об этом его услужливо известили агенты Сталина? Во всяком случае несомненно, что личный телохранитель Кирова в это время почему-то отсутствовал.

Кабинет Кирова имел две двери: одна из них, запертая изнутри, выходила в коридор, другая -- в комнату секретарей. Николаев без всяких помех вошел в комнату секретарей и пытался пройти в кабинет Кирова, куда его, конечно, не пустили. Услышав крики и угрозы Николаева, Киров открыл вторую дверь своего кабинета, выпустил через нее жену Николаева и сам вышел в коридор вслед за ней. В это время Николаев вырвался из рук державших его секретарей, выскочил в коридор, догнал Кирова и сзади выстрелил в него.

Я не могу, конечно, ручаться за точность всех деталей этой картины убийства, в которую верили все окружавшие меня, да это, пожалуй, не так уж и важно. Существенно то, что в среде старых членов партии никто не сомневался в том, что *Киров был убит Николаевым не из каких бы то ни было политических соображений, а по чисто личным мотивам.*

Совершенно неожиданное подтверждение этой версии убийства Кирова я получила в 1955 году, когда после освобождения из тюрьмы случайно встретила с И. М. Гронским, который в тридцатые годы был редактором советского официоза "Известия" и человеком очень близким к Сталину лично. Об этой встрече я расскажу позже. Здесь же я хочу лишь отметить, что Гронский рассказал мне об убийстве Кирова совершенно то же, что я знала раньше и о чем рассказывала здесь.

Право, как подумаешь о тех грандиозных трагических событиях, к которым привела любовная связь Кирова с молодой ленинградской работницей, и о влиянии этих событий на весь ход

истории последних десятилетий, то, вот поди разберись — что же в истории "случайность" и что "закономерность". Давно, впрочем, было сказано, что весь ход истории Римской империи был бы иным, если бы нос Клеопатры был чуть больше или чуть меньше.

Диагноз, который стоил жизни врачу

И при жизни Сталина и после его смерти многие задумывались над вопросом о том, совершал ли он свои чудовищные преступления, находясь "в здравом уме и твердой памяти", или великой страной правил на протяжении многих десятилетий психически ненормальный человек, которому место за оградой психиатрической больницы. Если бы Сталин дожил до неизбежно грядущего "Нюрнбергского" суда истории над коммунизмом, отправил бы его этот суд на эшафот или в психиатрическую больницу?

В конце 20-х годов Сталин впал в состояние такой тяжелой депрессии, что решено было пригласить для консультации профессора Бехтерева, жившего в Ленинграде. Профессор провел несколько часов наедине со Сталиным, а потом на вопросы окружающих о том, что же он нашел у пациента сказал: "Диагноз ясный. Типичный случай тяжелой паранойи". Наивный профессор не подозревал того, что этими словами он произносит свой собственный смертный приговор.

Бехтерева поблагодарили и с почетом отправили домой, в Ленинград. В знак признательности ему прислали из Кремля дорогие подарки и среди них бутылку какого-то "особого" коллекционного вина из бывших царских подвалов. А через несколько дней Бехтерев, человек вполне здоровый и еще не старый, вдруг неожиданным и загадочным образом скончался.

В нашем кругу никто не сомневался в том, что Бехтерев был убит, чтобы помешать распространению сведений о душевной болезни Сталина, но говорить мне об этом прямо решился только мой муж Шатуновский, который был человеком очень осведомленным и знал многое из того, о чем не подозревал ни народ, ни более широкие круги партии. Он рассказывал мне о посещении Бехтеревым Сталина и о неосторожно высказанном им диагнозе точно так, как я описала это выше. Как и многие другие, он думал, что Бехтерев был отравлен посланной ему в подарок бутылкой "особого" вина — совсем в стиле и в традициях Цезаря Борджиа. Я не берусь утверждать с достоверностью, что это было сделано именно так, но несомненно лишь то, что Бехтерев был убит (вероятно, отравлен) по приказу Сталина.

Бехтерев был женат на молодой обрусевшей немке, женщине очень высокого роста и массивного телосложения. Она была хорошо знакома с Красиковыми и несколько раз бывала в гостях у нас и после смерти мужа. Ничего она в происшедшей трагедии не поняла, постоянно похвалилась тем, что мы, дескать, "в Кремле не чужие, он там бывал как врач", и все удивлялась: "От чего же он умер? Он ведь был совершенно здоров". Слушая ее, все мы только переглядывались между собой.

Тот факт, что жена Бехтерева ничего не знала о причинах внезапной смерти ее вполне здорового мужа, показывает, что не только не было произведено вскрытие трупа, как это должно было бы быть сделано в таком случае, но не было даже и

опубликовано официальное медицинское заключение о причинах смерти. Это -- тоже обстоятельства более чем подозрительные. Конечно, вскрытие тела или опубликование медицинского заключения особых трудностей для властей не создали бы. Всем известно, как легко фабрикуются в СССР все нужные властям документы, в том числе и медицинские заключения. Все же без вскрытия, очевидно, было спокойнее.

По-видимому, сведения о диагнозе, поставленном Бехтеревым, и о его загадочной смерти все же просочились за стены Кремля и Лубянки. Уже в 50-е годы, после нашего возвращения в Москву, мне приходилось слышать разговоры об этом в кругу лиц, тесно связанных с одним очень известным московским психиатром. В этом кругу говорили об этом как о факте, не вызывающем сомнений.

В своем романе "Ковчег для незваных" писатель В. Максимов, не называя имени Бехтерева, пишет: "Как-то еще в двадцатых годах он (Сталин) доверился одному бородачу-невропатологу, тот поставил дурацкий диагноз, проникший в зарубежную прессу, пришлось расхлебывать эту кашу через ГПУ, а потом, дабы надежнее застраховаться, отделяваться и от тех, кто расхлебывал".*

Диагноз-то был совсем не дурацкий, а зная привычку Сталина смывать одну волну крови другой, можно не сомневаться в том, что действительно все люди, причастные к этому делу были

* Журнал "Континент", № 14, стр. 27, 1977.

убиты. И все же скрыть истину не удалось. "И не уйдешь ты от суда людского/ Как не уйдешь от Божьего суда".

Знала ли об этом диагнозе жена Сталина Надежда Аллилуева? Трудно ответить на этот вопрос с полной определенностью, но, судя по всему, что я знаю о ней от людей, близких ей, я думаю, что о психической болезни Сталина она знала и что это тоже сыграло свою роль в том, что Сталин ее убил.

Тайна смерти Надежды Аллилуевой

В ночь на 9 ноября 1932 г. скоропостижно скончалась жена Сталина Надежда Аллилуева. Известие о неожиданной смерти этой молодой обаятельной женщины, которую сердечно любили и глубоко уважали все знавшие ее, вызвало потрясение и скорбь не только в нашей среде, но и в широких слоях партии и интеллигенции. Оно породило вместе с тем немалые сомнения и тревогу.

Я сама была знакома с Надеждой очень мало, лишь несколько раз мне привелось встречаться и говорить с ней, когда я жила в Кремле. Но у меня сохранилось воспоминание не только об ее красоте и обаятельности, но и о какой-то особой окружавшей ее атмосфере душевной чистоты, принципиальности, серьезности. Мне кажется, что эти ее черты ярко отражены в прекрасном бюсте работы скульптора Шадра, установленном на ее могиле. Я часто смотрела на этот бюст, когда посещала могилу моего мужа на Новодевичьем кладбище, и всегда вспоминала Надежду с грустью и сожалением.

Много рассказывали мне о ней Красиковы и мой муж, который был с ней хорошо знаком, а позже в 50-е и 60-е годы, уже после смерти Сталина и нашего освобождения из тюрьмы, мой друг Евгения Аллилуева, вдова ее брата Павла, часто делилась со мной своими воспоминаниями о ней.

Из всех этих рассказов передо мной возникает очень привлекательный и цельный образ этой женщины.

Воспитанная в семье высококвалифицированного ленинградского рабочего -- социалиста, примыкавшего всю жизнь к большевикам, -- она с детства впитала в себя идеалы социализма и коммунизма, которые она приняла со всей искренностью и чистотой юности. Верность этим идеалам она сохранила всю свою недолгую жизнь, и измену им Сталина она переживала очень тяжело и трагично.

Причины смерти Надежды Аллилуевой никогда не были указаны в официальных сообщениях и некрологах, но полуофициально, через органы безопасности и партийный аппарат, распространялись слухи о том, что она, якобы, умерла от острого и внезапного заболевания. Называли приступ острого аппендицита, осложненный перитонитом. Никто, однако, -- особенно в нашей среде -- этим слухам не верил, потому что вся обстановка, сложившаяся после смерти Надежды, была очень странной и вызывала серьезные подозрения.

Вот как описывает эту обстановку дочь покойной Светлана, ссылаясь на рассказы своих теток: "... событие само по себе настолько потрясло всех тогда, что все растерялись и заботились лишь о том, чтобы как-то *скрыть случившееся*. Поэтому к телу *не были допущены врачи*, не было опубликовано медицинское заключение о причинах смерти, в некрологе лишь таинственно сообщалось о "неожиданной кончине в ночь на 9 нояб-

ря". Не разрешили даже набальзамировать тело до дня похорон: *в дом никого не пускали*" (С. Аллилуева, "Только один год", стр. 127. Курсив мой — Л. Ш.)

Почему такая растерянность и такая таинственность? Что "случившееся" нужно было так тщательно скрывать, если сам факт скоропостижной смерти жены Сталина был опубликован? Казалось бы, что если ночью внезапно заболевает жена Сталина, то должны были бы немедленно быть вызваны лучшие врачи и мобилизованы все ресурсы медицины. А между тем врачи не только не были вызваны к заболевшей, но не были даже допущены к телу покойной.

В любом другом случае такой внезапной и загадочной смерти молодой и здоровой женщины несомненно было бы произведено вскрытие тела. Здесь его не было.

Не только не было опубликовано официальное медицинское заключение, но и в некрологе причины смерти не были указаны. Почему?

Все сразу ощутили, что за смертью Надежды Аллилуевой таится какая-то страшная и темная тайна. По городу поползли самые различные слухи. Одни считали, что Надежда Аллилуева покончила с собой, доведенная до этого Сталиным, другие были уверены в том, что Сталин сам убил свою жену, но так или иначе все возлагали на Сталина ответственность за эту всеми оплакиваемую смерть. Об этом пишет и Светлана Аллилуева: "Антипатия, страх, ненависть к фигуре отца были столь сильны в этот год, что немедленно распространился слух об убийстве. Это казалось

многим более правдоподобным, чем самоубийство молодой здоровой женщины, на стороне которой была общая симпатия. Мне не раз приходилось слышать разнообразные версии убийства, самые противоречивые, но сводившиеся к одному: что оно было совершено руками отца" ("Только один год", стр. 127).

Какая же из этих версий правильна? Была ли смерть Надежды Аллилуевой убийством или самоубийством?

Светлана Аллилуева в обеих своих книгах решительно отвергает версию об убийстве. Евгения Аллилуева также говорила мне о том, что Надя, глубоко несчастная в своей семейной жизни, оскорбленная непереносимой грубостью Сталина и резко расходившаяся с ним в ряде политических вопросов, была Сталиным фактически доведена до самоубийства, но что все же она покончила свою жизнь сама. По ее мнению, Сталин был моральным виновником ее смерти, но не физическим убийцей.

По всему тому, что мне рассказывали многие люди, хорошо знавшие Надежду Аллилуеву, ее семейная жизнь действительно сложилась очень несчастливо. Она была на 22 года моложе Сталина, и когда семнадцатилетней девушкой, едва окончившей гимназию, она вышла за него замуж, он представлялся ей "героическим революционером", только что вернувшимся из царской ссылки и ставшим одним из соратников Ленина, одним из вождей революции. Годы замужества принесли ей много разочарований и разрушили этот романтический образ.

Отношение Сталина к женщинам всегда оставалось примитивно варварским. Несмотря на все его неоднократные официальные высказывания о равноправии женщин и о той важной роли, которую они играют в социалистическом строительстве, в личной жизни женщина всегда оставалась для него существом неполноценным, низшим, созданным, чтобы служить мужчине. Так он третирует и свою жену. В домашнем быту и даже на людях Сталин был невероятно груб, резок, совершенно невоспитан, и это глубоко ранило и оскорбляло Надежду, которая в этом отношении была полной противоположностью Сталину. Внимательная ко всем окружающим, всегда неизменно вежливая и доброжелательная, прекрасно воспитанная, она в те годы еще часто смягчала грубость и жестокость Сталина. Думаю, что это уже начинало тяготить его.

Сталину-азиату никогда не могло бы прийти в голову делиться с женой своими мыслями и планами, а тем более советоваться с ней по серьезным вопросам, как это делал европеец Ленин. А между тем Надежда была очень умна и интеллигентна. Она была человеком с ярко выраженной индивидуальностью и никак не могла ограничить свою жизнь ролью только жены, матери и хозяйки. Она с юности выработала свою систему политических взглядов и моральных принципов, которые в то время уже во многом расходились с тем, что делал Сталин.

Вспомним, какое это было время. Сталин только что закончил проведение двух кровавых операций, которые были ему необходимы, чтобы

проложить себе дорогу к единоличной диктатуре. Был ликвидирован НЭП и с невероятной жестокостью истреблены многие тысячи людей, которые поверили в то, что "НЭП -- это всерьез и надолго" и в свое время спасли страну от разрухи и голода. К 1932 году была также в основном завершена насильственная сплошная коллективизация и осуществлена ликвидация "кулачества как класса".

Эта операция, целью которой было разорение и подавление крестьянства -- единственного класса, который еще сохранял некоторую независимость от государства, -- была также проведена со сверхчеловеческой жестокостью. Не менее десяти миллионов крестьян были уничтожены, убиты, загнаны в лагеря или высланы с семьями в Сибирь, где ничего не было подготовлено и где большинство их погибло от холода и голода. После этого голод в деревне, искусственно и сознательно созданный сталинским партийным аппаратом, унес еще не менее 5-6 миллионов жертв. Все яснее сказывались диктаторские замашки Сталина и его кровожадность.

Все это вызывало тревогу и настороженность в среде старых большевиков и интеллигенции и порождало глубокое недовольство в народе. Вспомним цитированные выше слова Светланы Аллилуевой о той атмосфере "антипатии, страха, ненависти", которая создалась в эти годы вокруг фигуры Сталина. Надежда Аллилуева, как и многие в среде старых большевиков, относилась с осуждением к этим действиям Сталина. Между ней и мужем возникали расхождения не только личного, но и принципиального характера.

Я думаю, что Надежда оставалась очень не-удовлетворенной и в своей интимной, чисто женской жизни. Говорить об этом очень трудно, потому что лицемерие и ханжество советского общества во всем, что связано с сексом, было в ту пору, да, пожалуй, остается и сейчас, не меньшим, чем в викторианской Англии. Полагалось делать вид, что вы даже не подозреваете о том, что происходит между мужчиной и женщиной в постели. И уж во всяком случае нельзя было говорить, а тем более писать о том, какую роль в жизни человека и общества играет эта "низменная", "животная" сторона существования. Тем не менее, по многим догадкам и намекам моего мужа и по осторожным рассказам Евгении Аллилуевой я думаю, что сексуальный потенциал Сталина был очень невелик, несмотря на его кавказское происхождение, и что молодая, темпераментная Надежда от этого очень страдала.

Несмотря на это, а может быть, именно поэтому Сталин время от времени изменял своей жене. Об одной из таких измен — о связи Сталина с балериной Семеновой, которая позже стала женой видного советского дипломата Карахана, — говорил тогда весь город. Евгения Аллилуева, которая была в курсе всех событий этой семьи, в разговоре со мной подтвердила правильность этих слухов. Когда Карахан был в 1937 году арестован и затем расстрелян, у всех вызывал недоумение тот факт, что Семенову не арестовали. Объясняли это "благосклонностью" Сталина.

Надежда Аллилуева была очень ревнива и тяжело переживала измены мужа. Мне думается,

что Сталин изменял жене не столько из неудержимой потребности в женщинах, сколько из садистской потребности мучить Надежду. В этом садизме, как мне кажется, находил какую-то разрядку его комплекс ущемленной мужской неполноценности.

Если учесть, что все эти разочарования в семейной жизни и женская неудовлетворенность накладывались на фон очень отягощенной психической наследственности семьи Аллилуевых, то станет понятным, почему к концу двадцатых годов нервная система Надежды Аллилуевой оказалась настолько надломленной, что по совету врачей она должна была выехать инкогнито в Берлин, где тогда работали ее брат Павел и его жена Евгения. Целью этой поездки была консультация с крупными немецкими специалистами-невропатологами. Не зная, кто она, врачи посоветовали ей оставить учение, отдохнуть, вести спокойный образ жизни. Они не знали, что нет и не может быть покоя для этой чистой, цельной и глубоко несчастной женщины.

В подтверждение того, что мать ее совершила самоубийство, а не была убита Сталиным, Светлана приводит рассказ ее вернувшихся из заключения теток о том, что "перед смертью мама оставила письмо отцу, полное политических обвинений. Это письмо могли прочесть тогда лишь самые близкие люди, оно было быстро уничтожено. Его политический характер придал бы слишком большое значение случившемуся для самой партии".

Об этом письме и о самоубийстве Надежды могла рассказать Светлане, конечно, только Евгения, потому что Анна вернулась из тюрьмы в состоянии полного психического расстройства. О существовании этого, якобы, предсмертного письма я и сама слышала от Евгении Аллилуевой. Но ни она сама, ни муж ее Павел, брат покойной, этого письма никогда не видели, да и видеть не могли, потому что вернулись в Москву из Берлина, когда это письмо, если оно и существовало, было уничтожено или тщательно скрыто. Не могла видеть этого письма и Анна, сестра покойной, потому что во время этих трагических событий она с мужем жила в Харькове.

Таким образом, Евгения Аллилуева, которая является единственным источником сведений об этом предсмертном письме, сообщает о нем, очевидно, с чьих-то чужих слов. Мы не имеем ни одного свидетельства от человека, который мог бы сказать, что он сам, лично, читал или, по крайней мере, видел это письмо.

Но если даже допустить, что какое-то письмо существовало, то ничто не доказывает, что в нем Надежда высказала свое решение покончить жизнь самоубийством. Письмо, "полное политических обвинений", а может быть, и личных упреков, могло быть написано Надеждой за некоторое время до ее смерти и вне всякой связи с якобы задуманным ею самоубийством. Более того, если бы в этом письме действительно было высказано намерение Надежды совершить самоубийство, то было бы совершенно невероятно, чтобы при наличии слухов о том, что Сталин

убил ее, этот коварный и опытный преступник уничтожил бы письмо, столь ясно снимающее с него ответственность за ее смерть.

Наконец, если бы даже случилось невероятное и мы когда-нибудь обнаружили это письмо или если бы мы получили не вызывающие сомнений показания людей, читавших его, то и в этом случае нельзя было бы этому письму верить без тщательной и объективной экспертизы его подлинности. Мы знаем, как легко фабрикуют все нужные им документы органы "государственной безопасности" в СССР.

Таким образом, рассказ Евгении Аллилуевой об этом письме никак не может считаться доказательством того, что Надежда совершила самоубийство, а не была убита Сталиным. Не более убедителен и другой аргумент, приводимый Светланой, ее рассказ о том, что "по словам моих теток (маминой сестры Анны и жены ее брата Евгении Аллилуевых) отец был потрясен больше всех, потому что вполне понял, что это был вызов и протест против него. Он не мог заставить себя даже пойти на похороны. Он был разбит, опустошен". Что это доказывает? Ведь если Сталин был убийцей своей жены, то душевное потрясение его (в то время во всяком случае) должно было быть не меньшим, чем если бы он был всего лишь косвенным виновником ее самоубийства.

Можно понять, конечно, что дочери покойной, сохранившей почти благоговейную память о матери, легче было примириться с мыслью о ее самоубийстве, чем поверить в то, что она была убита отцом. Поэтому всего сказанного выше о не-

счастливой семейной жизни Надежды Аллилуевой было достаточно, чтобы она поверила в версию о самоубийстве.

Однако такого рода психологические соображения никак не могут рассматриваться как объективное подтверждение правильности этой версии. Светлана ведь сама отмечает, что многим предположение об убийстве казалось более правдоподобным. Сама я, все окружавшие меня, кто хорошо знал Надежду, никогда не верили в то, что она покончила жизнь самоубийством, и всегда были убеждены в том, что она была убита Сталиным. В конце концов, если бы все женщины, не нашедшие счастья в семейной жизни, совершали самоубийство, то род людской, вероятно, давно кончился бы. А весь духовный облик Надежды Аллилуевой, каким он представляется мне по рассказам людей, близко знавших ее, никак не увязывается у меня с представлением о самоубийстве.

По всему, что я знаю о ней, Надежда была женщиной сильной, волевой, с ярко выраженной индивидуальностью. Она могла искать разрешения своих личных проблем на каких угодно других путях, но не на уходе из жизни. К тому же, в это время у нее уже было двое детей: прелестная бронзововолосая шестилетняя Светлана и двенадцатилетний очень трудный сын Василий, который не хотел учиться и уже тогда подавал задатки стать тем, чем он стал впоследствии. Надежда как-то раз пожаловалась моему мужу, что ей приходится к концу уроков заезжать в школу за Василием, чтобы он не убежал куда-нибудь и не

пустился в какие-то авантюры. На ней лежала и ответственность за Якова, старшего сына Сталина от первого брака. Я вполне допускаю, что она могла отказаться от всего, забрать детей и уйти от Сталина, но я не могу поверить в то, что такая женщина не нашла иного выхода, кроме самоубийства.

По-видимому, выход она искала в ином. Выйдя замуж за Сталина очень рано, она не сумела своевременно получить высшее образование. Она решила восполнить этот пробел, будучи уже тридцатилетней женщиной, матерью двух детей. Она поступила в Промышленную Академию, мечтая найти свое самостоятельное место в жизни, стать инженером, активным строителем того общества, в которое она верила. К своим занятиям в Академии она относилась чрезвычайно серьезно и добросовестно. Мне думается, что там она находила какой-то душевный покой, разрядку от своих семейных горестей и политических тревог.

Заговорив об этом, я не могу не рассказать об одном эпизоде, который показывает, с какой скромностью и с каким тактом она выполняла свою трудную роль жены "вождя".

Для поступления в Промышленную Академию формально требовался "рабочий стаж". Конечно, для жены Сталина это было необязательно, но Надежда не хотела для себя никаких привилегий. По совету моего мужа она пошла к директору Центрального Института Труда Гастеву просить о зачислении ее на курсы, готовившие рабочих-металлистов. О том, кто она, Гастеву она не сказала, а тот, не разобравшись в обстановке,

под каким-то предлогом ей в приеме отказал. И тогда жена Сталина тихо поднялась и скромно удалилась, хотя одного ее слова было достаточно, чтобы перед ней распахнулись все двери.

Как сообщает Светлана, она стеснялась даже подъезжать на машине к Промышленной Академии и старалась ходить пешком. Мой муж, который был профессором математики в Промышленной Академии, когда Надежда там училась, тоже много рассказывал мне об ее необычайной деликатности, такте и скромности в общении со студентами и преподавателями.

Не могла, по-моему, такая женщина покончить с собой! Но, конечно, эта моя субъективная уверенность столь же мало обязательна для вас, читатель, как и уверенность Светланы Аллилуевой в противоположном. Психология -- палка о двух концах.

Попробуем же разобрать те очень скудные объективные свидетельства, какими мы располагаем для ответа на вопрос о причинах смерти Надежды Аллилуевой.

Картина обстоятельств, предшествовавших смерти Надежды Аллилуевой в эту трагическую ночь, рисуется мне по рассказам многих людей, близких к этой среде, в таком виде. Вечером 8 ноября на ужине у Ворошилова по случаю 15-й годовщины Октябрьской революции грубость Сталина по отношению к жене превзошла все границы допустимого. Он позволил себе по отношению к ней такое хамство, которого она не выдержала, поднялась из-за стола и вышла. За ней поднялась и вышла вместе с ней и ее подруга

Полина Жемчужина (жена Молотова). Обе женщины долго гуляли по Кремлю. Надежда была очень расстроена и плакала, а Полина старалась ее успокоить. Наконец, уже поздно ночью обе женщины расстались и разошлись по домам. В общих чертах этот рассказ совпадает с тем, что пишет Светлана, которая и сама может знать об этом лишь по чужим рассказам.

Далее, как мне рассказывали, Надежда, вернувшись домой, зашла в кабинет Сталина и здесь, по-видимому, между ними состоялся очень острый разговор. Никто, конечно, не знает и не может знать, о чем говорила тогда в последний раз Надежда со своим мужем, но можно думать, что обиженная и возбужденная молодая женщина не ограничилась личными упреками, а осмелилась высказать Сталину все, что она думала о его политической линии и о его кровавых действиях. Сталин увидел перед собой не семнадцатилетнюю влюбленную девушку, для которой он был "героем революции", а взрослую, умную, во всем разобравшуюся разгневанную женщину, смело и прямо обличавшую его. Такая жена была уже опасна.

Всякий раз, когда Сталин встречался с прямым противодействием и осуждением его поступков, им овладевали приступы бешеного, неудержимого гнева. Об одном из таких приступов, стоившем жизни Красикову, я еще буду иметь случай рассказать дальше. По-видимому, такой же приступ неукротимого гнева овладел Сталиным и в эту ночь. Он потерял контроль над собой,

и, когда Надежда повернулась, чтобы выйти из кабинета, он выстрелил ей в затылок.

Такова картина убийства Надежды Аллилуевой, которая казалась в нашем кругу наиболее вероятной. Быть может, в каких-то деталях этот рассказ и не точен. Быть может, Надежда была убита не в кабинете Сталина, а в своей спальне. Значения это не имеет, но в том, что она была убита, и притом выстрелом в затылок, у меня сомнений нет, ибо я располагаю свидетельством об этом, полученным от единственного, быть может, человека, который близко видел тело Надежды Аллилуевой.

В начале 1933 года, вскоре после смерти Надежды, я встретила в квартире одного из друзей Красиковых с Зинаидой Орджоникидзе, женой Георгия Орджоникидзе ("Серго"), старого друга Сталина и одного из виднейших деятелей партии, организатора советской индустрии. В то время обстоятельства, связанные со смертью Надежды Аллилуевой, и причины этой смерти очень волновали всех, и разговор естественно зашел о причинах этой загадочной смерти. Зинаида Орджоникидзе была настолько взволнована и потрясена, что она забыла о всякой осторожности и в моем присутствии рассказала следующее. Как подтверждает и Светлана, к телу покойной не был допущен никто: ни врачи, ни бальзамировщики, ни даже кто-нибудь из близких. Но ведь было необходимо омыть покойницу и подготовить тело к погребению, и эту последнюю услугу ей оказала Зинаида Орджоникидзе, связанная со Сталиным и его семьей узами многолетней друж-

бы. Со слезами на глазах, с глубоким волнением и скорбью Зинаида сказала, что, омывая покойницу, она увидела, что *пулевая рана у нее была в затылке.*

Это сообщение, конечно, полностью исключает возможность самоубийства и с несомненностью устанавливает, что Надежда Аллилуева была застрелена Сталиным. Даже если бы случилось невероятное и мы когда-нибудь получили возможность прочитать письмо молодой, истерзанной и изнервленной женщины, в котором она высказала бы свое намерение совершить самоубийство, то и в этом случае пуля в затылке неопровержимо свидетельствует о том, что она была убита раньше, чем решилась на этот шаг.

В подтверждение версии о самоубийстве Светлана Аллилуева приводит рассказ своей старой няни, который она слышала от нее в 1955 году, то есть через 20 с лишним лет после трагических событий. По рассказу этой старой женщины утром 9 ноября, когда экономка Каролина Тиль, приготовив завтрак, вошла в спальню своей хозяйки, чтобы разбудить ее, она увидела Надежду лежащей в крови на полу возле кровати. В руке у нее был маленький пистолет "Вальтер", привезенный ей когда-то ее братом из Берлина. Испуганная Каролина прибежала в детскую и позвала с собой няню. Обе женщины, изнемогая от страха, что сейчас может войти Сталин, положили тело на постель и привели его в порядок, а затем уже, так и не решившись разбудить Сталина, начали звонить Авелю Енукидзе, "хозяину"

Кремля, и другим, в том числе Полине Молотовой.

Дальше, по рассказу няни, в дом прибежало много людей, в том числе Молотов и Ворошилов, а Сталин все спал, и никто не решался разбудить его. Наконец, он проснулся и вышел в столовую. "Иосиф, Нади нет больше с нами", — сказали ему.

Этот рассказ няни, конечно, совершенно несовместим с тем, что я слышала от Зинаиды Орджоникидзе. Он устанавливает факт самоубийства и дает полное "алиби" Сталину с такой же несомненностью, с какой слова Зинаиды устанавливают его виновность в убийстве жены. Приняв одно из этих показаний, мы должны отбросить другое. Где же истина?

Мне лично рассказ няни представляется совершенно неправдоподобным. Совершенно невероятно, чтобы Каролина Тиль, женщина с некоторым образованием, могла не знать, что в таких обстоятельствах нельзя трогать и смещать тело, нельзя ничего менять в комнате до прибытия властей. Правдоподобно ли психологически, по вашему мнению, читатель, чтобы две дрожащие от страха женщины прежде всего позаботились о том, чтобы "привести тело в порядок", а потом уже подняли тревогу, так и не решившись разбудить мужа покойной. И уж совершенно неправдоподобен конец рассказа. В нем явно ощущается искусственность, особо тщательное намерение подтвердить "алиби" Сталина.

Я жила несколько лет не только в одном доме со Светланой Аллилуевой, но и в одном подъезде с ней, и мне приходилось видеть ее старую няню,

хотя сына Светланы уже нянчила под ее руководством другая, молодая няня. Была эта старая няня женщиной массивной и грузной. Она чрезвычайно гордилась своей причастностью к столь высоким сферам и своей долгой службой в семье "самого" Сталина. За воспитание Светланы она была награждена орденом и всегда ходила, горделиво выпятив грудь, чтобы все могли видеть этот орден, прикрепленный к лацкану ее жакета. Я думаю, что эта хорошая, но малообразованная женщина, работавшая всю свою жизнь под строгим контролем и давлением "органов безопасности", вполне могла сначала распространять эту версию смерти Надежды Аллилуевой под их нажимом, а затем к старости могла и сама искренне поверить в нее. Я не считаю исключенной и возможность того, что она была загниготизирована и эта версия ей была внушена. В "черных кабинетах" советской тайной полиции все возможно. Так или иначе, но никаких подтверждений этого рассказа старой няни мы нигде не находим. Но и сама Светлана, по-видимому, позже в этой истории усомнилась. Как иначе объяснить, что, приведя этот рассказ старой няни в своей первой книге "20 писем к другу", которая была написана еще во время пребывания автора в СССР, она ни одним словом не упоминает о нем во второй своей книге "Только один год", написанной, когда она уже нашла убежище на Западе? В этой второй книге совершенно исчезает и имеющееся в первой упоминание о том, что рассказ няни в общих чертах совпадает с тем, что, якобы, рассказывала Светлане в 1955 г. вернув-

шавшая в Москву из мест заключения Полина Жемчужина (Молотова).

Этого достаточно, кажется, для того, чтобы отбросить рассказ няни и принять исключаяющие его слова Зинаиды Орджоникидзе, которые — подчеркиваю — *я слышала непосредственно от нее, а не через третьих лиц*. Когда я вспоминаю лицо Зинаиды, слезы в ее глазах, ее глубокое потрясение, у меня не остается и тени сомнений в ее правдивости. Но у меня имеются и некоторые объективные, хотя и косвенные подтверждения правдивости ее слов.

Одним из них является жестокая расправа Сталина со всеми членами семьи Орджоникидзе, в том числе и с Зинаидой. Если читатель помнит, имя Орджоникидзе было мне названо моим покойным мужем в числе тех трех человек, которых Сталину необходимо было убить, чтобы проложить себе путь к диктатуре. И действительно, все они стали жертвами Сталина. После убийства Кирова опаснейшим был Орджоникидзе, и его многолетняя дружба со Сталиным не спасла его. Однако арестовать Орджоникидзе, влиятельнейшего члена Политбюро, руководителя всей индустрии, объявить его "врагом народа" даже Сталин не решился. Поэтому Орджоникидзе был убит тайно. Его либо заставили покончить жизнь самоубийством, либо — что более вероятно — он был попросту застрелен сталинскими агентами.

Так или иначе, но до своей смерти Орджоникидзе не был смещен со своих постов и не был политически скомпрометирован. По одному из тех официальных медицинских заключений, кото-

рые фабрикуются в СССР по приказу властей с легкостью необычайной, смерть его последовала от приступа стенокардии и сердечной астмы, приведшего к параличу сердца. Похоронен он был со всеми подобающими почестями. Это исключало возможность обычного автоматического ареста Зинаиды Орджоникидзе как "жены врага народа". А между тем, она — вдова погибшего на своем посту виднейшего деятеля партии — была позже арестована и провела много лет в заключении.

Жестокие репрессии обрушились и на других членов семьи Серго. В своем докладе на XX съезде коммунистической партии СССР Н. Хрущев подтвердил, что брат Серго Папулия Орджоникидзе был после истязаний расстрелян или погиб под пыткой. Это было еще при жизни Серго. Другой его брат Чечико тоже был арестован и провел 12 лет в одиночках той же Владимирской тюрьмы, где были заключены мы с мужем, а также Евгения и Анна Аллилуевы. Одно время Чечико находился в камере, находившейся между камерой Евгении и моей, и мы "перестукивались" с ним через стенку. Я тогда еще плохо владела тюремным кодом "5 х 5" * и могла узнать о Чечико

* Суть этого кода чрезвычайно проста. Алфавит (25 букв) делится на 5 строк по 5 букв в каждой. Нужно запомнить для каждой буквы номер строки, в которой она находится, и ее место в этой строке. Потом ударами в стену вы сообщаете соседу по буквам все, что вам нужно. Например, буква "к" передается кодом: — — — — — (вторая строка, пятая буква). При не-

немного, но Евгения, которая знала его и раньше, перестукивалась с ним дольше и потом, после нашего освобождения, много мне о нем рассказывала.

Однажды нервы несчастного Чечико не выдержали, им овладел припадок истерического бешенства, он начал дико кричать и стучать в дверь. Я слышала, как к нему ворвалась специальная команда охраны и как из камеры начали раздаваться нечеловеческие крики нещадно избиваемого человека. Я сама чуть не потеряла рассудок в этот день.

Эта беспощадная расправа Сталина с семьей убитого им старого друга очень характерна для его маниакального стремления истреблять семьи своих жертв. В этом, очевидно, находила какую-то разрядку его "дурная совесть". Но я думаю, что в расправе с Зинаидой Орджоникидзе решающую роль сыграло не это, а страх перед возможностью разоблачения той страшной тайны, которую знала, возможно, она одна.

Совершенно неожиданное подтверждение правильности рассказа Зинаиды Орджоникидзе я получила, как это ни странно, в Лефортовской тюрьме МГБ во время следствия по нашему делу. Ведший это следствие полковник госбезопасности Комаров во время ночных допросов посто-

котором навыке можно вести на этом "языке" довольно оживленные разговоры. Нужно только быть осторожным, чтобы тюремная стража вас не накрыла. Код этот старый, дореволюционный.

янно возвращался к каким-то загадочным обстоятельствам, которые его, видимо, очень интересовали, но о которых он не мог говорить прямо. Он часто говорил мне: "Мы подозреваем, что вы знаете об одном событии то, что вам знать не положено". Когда же я его спрашивала, о каком событии идет речь, он отвечал: "Этого я вам не скажу, но важно не то, что вы об этом знаете — об этом знает весь мир — а то, как вы об этом знаете. Этого мы допустить не можем, особенно учитывая ваши сионистские настроения и шпионскую деятельность".

Долгое время я, действительно, не понимала, что имеет в виду Комаров. Но однажды под утро, после ночного допроса, выталкивая меня пинком ноги из своего огромного кабинета навстречу охране, он процедил сквозь зубы: "Вспомни события 1932 года ..." Далее следовала непечатная ругань.

И тут все стало мне ясно. В 1932 году произошло событие огромной личной важности для меня — смерть моего первого мужа. Но не это, конечно, имел в виду Комаров. Другим событием этого года — уже не личным — была смерть Надежды Аллилуевой. Эта смерть, или, вернее, то, что я о ней знаю, и интересовало его. Я поняла теперь смысл его слов. О смерти Аллилуевой знали все, важно было — знаю ли я о том, как она умерла.

Однако к этому времени я уже была достаточно умудрена опытом "следствия" и твердо стояла на том, что не понимаю, на что намекает Комаров. Ведь мой муж умер в сентябре 1932 года,

раньше, чем была убита Надежда Аллилуева. Следовательно, от него я ничего не могла узнать об обстоятельствах ее смерти. А раз так, то во время следствия неизбежно встал бы вопрос о том, откуда я знаю то, что знаю, и это сразу же повлекло бы за собой новые допросы и пытки, новые аресты. К счастью, Комаров вскоре эту тему "закрыл".

* * *

Мне пришлось коснуться в ходе моего рассказа вопроса о сексуальной неполноценности Сталина, которая, как мне кажется может объяснить многое в его характере и деятельности. Мне думается, что среди многих комплексов, одолевавших этого человека, немалую роль играл и комплекс ущемленной мужской неполноценности. В этой связи я хотела бы лишь рассказать о двух известных мне эпизодах из личной жизни Сталина, в которых раскрывается его полная аморальность, отсутствие каких бы то ни было сдерживающих начал и вместе с тем его глубочайшее внутреннее презрение к женщине.

В 1920 году, во время оккупации Баку англичанами, были расстреляны знаменитые "26 бакинских комиссаров". В числе расстрелянных оказался и старый друг Сталина Алеша Джапаридзе. После него осталась жена Варо и две дочери, имен которых я не помню. Красавица Варо жила в одном доме со мной, и я помню ее очень хорошо. Когда одна из ее дочерей, воспитывавшаяся некоторое время в доме Сталина,

подросла и стала весьма привлекательной девушкой, Сталин начал приставать к ней с весьма недвусмысленными предложениями, но встретил решительный отпор. После этого дочь Алеши Джапаридзе была арестована и исчезла в сталинских лагерях. Не знаю, вернулась ли она оттуда, но мать ее Варо ходила всю жизнь в глубоком трауре — по мужу или по дочери, не знаю.

Другой случай. В 1938 году скоропостижно скончался Павел Аллилуев, брат Надежды. Об обстоятельствах этой смерти, не оставляющих никаких сомнений в том, что Павел был по приказу Сталина отравлен, я расскажу дальше. Прошло короткое время, и Сталин, не смущаясь, сделал его вдове Евгении, женщине огромного обаяния и очень привлекательной недвусмысленное предложение поступить к нему в "экономки". Об этом она рассказала мне сама. Злоба, которую затаил против нее Сталин, когда она с негодованием от этого предложения отказалась, несомненно сыграла свою роль в том, что в конце 1947 года Евгения Аллилуева была арестована и провела 7 лет, до смерти Сталина, в одиночном заключении.

Мне кажется, что в обоих случаях мы видим одно и то же извращенное сладострастное стремление овладеть женой или дочерью убитого им близкого человека. В этом последнем торжестве над своей жертвой должны были найти разрядку и комплекс "дурной совести" и комплекс ущемленной мужской неполноценности. Вы скажете, что это — Достоевщина, литературный вымысел, но воистину только Достоевский мог бы проник-

нуть в темные провалы безумия и извращенности свидригайловской души Сталина.

Возможно также, что комплекс мужской неполноценности Сталина сыграл свою роль в странной судьбе фрейдизма и всего современного учения о психоанализе в СССР. В начале двадцатых годов взгляды Фрейда своей "революционностью", разрывом с традицией привлекли внимание многих интеллигентов в России, в том числе и некоторых коммунистов. В Москве возникло Психоаналитическое Общество, во главе которого встала Вера Шмидт, жена известного полярного исследователя и руководителя Академии Наук во время войны профессора Отто Шмидта. Ряд врачей в Москве, Ленинграде и других крупных центрах начал применять психоанализ как метод лечения неврозов. Государственное издательство, которым заведовал тогда Шмидт, напечатало переводы нескольких книг Фрейда и начало выпускать "Библиотеку психоанализа". Был напечатан и ряд других книг по психоанализу, в том числе даже таких еретических, как попытки анализировать классические литературные произведения, в частности Гоголя, с позиций психоанализа, а не марксистско-классовых.

И вдруг в конце двадцатых годов все это как ножом отрезало. Общество было распущено. Применение психоанализа в медицинской практике запрещено. На все учение Фрейда и его последователей наложено "табу". Что послужило толчком к столь резкой и внезапной перемене, неясно. Возможно, что кто-то из идеологов понял, наконец, трудность совмещения учения,

выдвигающего на столь важное место роль подсознательного в жизни человека и общества, с марксистским тезисом о том, что "бытие (понимаемое узко как совокупность социальных условий) определяет сознание". Как же быть с подсознанием? Неужели и оно бывает "пролетарским" или "капиталистическим"? Так уж лучше издать приказ, что оно вообще не существует это самое подозрительное подсознательное!

Расправа с семьей Аллилуевых

Криминалисты говорят, что у каждого матерого преступника, особенно у убийц, есть свой "почерк", свои характерные особенности совершаемых ими преступлений и свои излюбленные способы и орудия убийств. Были такие характерные особенности и в преступлениях Иосифа Сталина. Одной из них является маниакальное стремление жесточайшим образом расправиться со всеми членами семьи убитых им жертв, особенно если эти жертвы ранее были его родными или друзьями. В этом были, вероятно, и подсознательные пережитки примитивно дикарского опасения "кровной мести" и параноидальная подозрительность Сталина и, быть может, стремление заглушить чувство вины.

Я уже имела случай отметить эту черту психики Сталина, когда говорила о его расправе со всей семьей Г. К. Орджоникидзе, его многолетнего друга и соратника в прошлом. Так же жестоко и безжалостно расправился Сталин и с семьей своей первой жены Екатерины Сванидзе и с семьей убитой им Надежды Аллилуевой.

Начну с семьи Аллилуевых. Родоначальник этой семьи Сергей Яковлевич Аллилуев был ленинградским рабочим, слесарем очень высокой профессиональной квалификации. В молодости он много лет работал в разных городах Закавказья, там познакомился с несколькими социал-

демократами и под их влиянием стал с 1898 года членом этой партии. Ни теоретиком партии, ни профессиональным революционером, живущим за ее счет, ни даже сколько-нибудь заметным руководящим работником партии он не стал, но постоянно примыкал к ее большевистскому крылу. Он не получил большого систематического образования, но он много читал, был умен, интересен, всеми любим и уважаем. Партии он был предан глубоко и искренне.

В девятисотые годы семья Аллилуевых жила в Ленинграде, где отец работал техником в Обществе Электрического Освещения. Его очень ценили как превосходного техника-практика и хорошо оплачивали. Уровень жизни семьи был вполне приличным: семья занимала четырехкомнатную квартиру, дети учились в гимназиях.

Облик Сергея Аллилуева, каким он запомнился мне по рассказам моего мужа и других людей, хорошо знавших его, близок к тому, который рисует Светлана Аллилуева: "Он обладал удивительной деликатностью, был приветлив, мягок, со всеми ладил, но вместе с тем — это у него соединялось воедино — был внутренне тверд, неподкупен и как-то очень гордо пронес до конца своих дней (он умер 79 лет в 1945 г.) свое "я", свою душу революционера-идеалиста прежних времен, чистоту, необыкновенную честность и порядочность. Отстаивая эти качества он, человек мягкий, мог быть тверд с теми, кому эти черты были непонятны и недоступны" ("20 писем к другу", стр. 3).

Эти душевные качества старика Аллилуеваставляли даже Сталина считаться с ним и кое в

чем себя сдерживать. После убийства Надежды встречи с ее родителями стали тяготить и раздражать Сталина, и он старался этих встреч избегать.

Мать Надежды Аллилуевой Ольга Евгеньевна, урожденная Федоренко, родилась в Грузии в довольно обеспеченной семье. В 14 лет, едва окончив четырехклассную школу, она сбежала из отчего дома с молодым Аллилуевым, рабочим Тифлиссских железнодорожных мастерских. Рановато? Но ведь Джульетта была еще моложе, а девушки быстро созревают под горячим солнцем Грузии.

Этот ранний романтический побег из дома свидетельствует о высокой сексуальной темпераментности Ольги. Действительно, по рассказам знавших ее она всю жизнь была чрезвычайно, почти ненормально сексуальна и очень соблазнительна. От поклонников отбоя не было, а сама она была убеждена в том, что все без исключения мужчины, окружавшие ее, влюблены в нее без памяти. В частности, она считала, что и Сталин был без ума от нее и женился на ее дочери Надежде лишь с досады.

Увлечения Ольги Евгеньевны были многочисленны и бурны. Даже внучка ее Светлана, которой она рисуется в дымке романтических воспоминаний о детстве пишет о ней: "Надо сказать, что ей было свойственно увлекаться и порой она бросалась в авантюры то с каким-то поляком, то с венгром, то с болгаринном, то даже с турком -- она любила южан и утверждала иногда в сердцах, что русские мужчины -- хамы" (там же, стр. 47).

До поры до времени муж как-то смирялся с этим, чтобы не разрушать семью, но позже Алли-

луевы разошлись, стали жить врозь и остались одинокими до самой своей смерти.

Наследственность обоих Аллилуевых была очень смешанная. Бабка Сергея была цыганкой, и внешние черты цыганского происхождения сохранились в облике его самого и его детей. Дед Ольги по отцу был украинцем, а бабушка грузинкой. Мать ее была из семьи немцев-колонистов. Не знаю, по этим ли генетическим признакам, но психическая наследственность семьи была оченьотягощена. У Аллилуевых было четверо детей: два сына — Павел и Федор — и две дочери — Анна и Надежда. Психика двоих из них — Федора и Анны — была настолько неустойчива, что жизнь их кончилась тяжелым психическим заболеванием — шизофренией.

Младший из сыновей Федор был, по-видимому, в молодости человеком способным, особенно к математике, физике, химии. Еще до революции его приняли благодаря этим способностям в очень замкнутое и аристократическое Морское училище, откуда он был выпущен со званием гардемарина. Он, конечно, принял участие в Гражданской войне на стороне красных, но почему-то не воевал как морской офицер, а работал с Камо (Тер-Петросяном) и его головорезами. Нервы его не выдержали этой нагрузки, и он сошел с ума. После того, как был точно установлен диагноз его психического заболевания — шизофрения --, ему была назначена пенсия, и он прожил весь остаток своей жизни, много читая, но нигде не работая и ничего в своей жизни не сделав. Жил он в том же Доме Правительства, и мне

приходилось иногда встречаться и разговаривать с этим несчастным, но интересным человеком.

Кончила шизофренией и старшая дочь Анна, о которой я расскажу дальше, в связи с нашим арестом. Да и сама болезненная сексуальность Ольги Евгеньевны тоже свидетельствует о каких-то отклонениях от психической нормы.

Вполне психически здоровым членом этой семьи был старший сын Павел, с которым Надежда была очень дружна. Революция захватила его еще очень молодым человеком, и он провел всю Гражданскую войну, сражаясь на многих ее фронтах. По окончании войны он участвовал в экспедиции Урванцева, посланной по указанию Ленина на Дальний Север страны искать руды и уголь. Как военный он должен был командовать охранной экспедицией в этих тогда диких и безлюдных местах. В конце 20-х годов он был назначен советским военным представителем при посольстве в Германии. Туда он уехал со своей женой Евгенией, моим ближайшим другом, и своими тремя детьми: дочерью Кирой и сыновьями Сергеем и Александром.

По возвращении в Москву Павел Аллилуев был назначен комиссаром Управления Бронетанковых войск. Если вспомнить, какое значение придавалось тогда этому виду войск, то станет ясно, что это назначение свидетельствовало о полном доверии к нему Сталина. Однако к 1937 году, когда, расчищая себе путь к неограниченной власти, Сталин начал систематическое истребление всей верхушки военного командования, Павел стал серьезным препятствием на его пути.

Он был волевым, серьезным, скромным человеком и преданным, идейным коммунистом (в ту пору такие еще не совсем перевелись). Не убрав его, нельзя было на его глазах уничтожить всех его друзей и товарищей, в частности из бронетанковых войск. Но и арестовать его как "врага народа" было непросто. Как никак, а все же брат жены "самого". К тому же, в это время еще жил старик Аллилуев, отец Павла и Надежды, с которым Сталин в какой-то мере считался. Павла нужно было убить тайно, без шума и огласки.

Конечно, прямых документальных доказательств того, что Павел был отравлен по приказу Сталина, нет и быть не может. Все материалы по таким делам, по всей вероятности, уничтожены или хранятся в каких-то сверхсекретных архивах. Однако все, что мне известно об обстоятельствах его смерти, не оставляет никаких сомнений в том, что это было именно так.

Вдова покойного Евгения Аллилуева никогда не высказывала мне прямо своих сомнений в правильности официального медицинского заключения о причинах смерти ее мужа. Я тоже не высказывала ей своих сомнений. Вообще мы в наших разговорах старались не касаться этого вопроса. Это была слишком страшная тема.

Но вот факты. В октябре 1938 года Павел Аллилуев, которому тогда было 42 года, поехал один, без семьи, отдохнуть в санатории в Сочи (приморский город на Северном Кавказе). Первого ноября он вернулся домой совершенно здоровый, хорошо отдохнувший, бодрый, а на следующий день он отправился с утра, как обычно,

на свою работу в Бронетанковом Управлении. Через некоторое время ему стало на работе плохо, и его отвезли в Кремлевскую больницу. Оттуда позвонили по телефону Евгении, сообщили ей о заболевании мужа и с тревогой спросили, не было ли в семье еще каких-нибудь случаев *пищевого отравления* в этот день. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, потому что оно показывает, что врачи в Кремлевской больнице сразу заподозрили отравление, но предположили, что это случайное отравление недоброкачественной пищей.

Едва успела Евгения одеться, чтобы поехать в больницу, как к ней пришел бледный и потрясенный Ворошилов, который был с Павлом очень дружен, и сказал ей, что Павел умер. Официальное заключение Кремлевской больницы гласило, что смерть Павла последовала от тромба в сердце, но верить таким документам в СССР нельзя. Система такова, что органы тайной полиции всегда могут получить любые заключения, которые им нужны, за самыми авторитетными подписями.

По существу это заключение представляется мне более, чем сомнительным. Начать с того, что Павел Аллилуев был человеком нестарым и вполне здоровым. Его жена говорила мне, что ничем серьезным он никогда не болел и, в частности, ни на какие сердечные недомогания не жаловался. В Сочи он поехал лечить тамошними водами кожное заболевание — псориаз. Почему вдруг тромб в сердце? И как удачно: как раз тогда, когда его смерть была так нужна Сталину.

Далее, не удивительно ли, что человек с тромбом в сердце еще прожил несколько часов. В больницу он был доставлен еще живым. Больничный персонал говорил потом Евгении, что сначала ему стало лучше, он сказал, что чувствует себя хорошо, а потом, вскоре после этого, он неожиданно умер. Пусть скажут специалисты, типична ли такая картина для тромба в сердце и возможна ли она вообще в таких случаях.

Но несомненно наиболее подозрительным является тот факт, что в больнице сразу же предположили случай отравления, пусть пищевого, но все же отравления. Неужели высококвалифицированные врачи Кремлевской больницы не сумели бы сразу распознать тромб в сердце и могли бы спутать его с пищевым отравлением?

Все эти подозрительные обстоятельства никогда не оставляли у меня и окружавших меня людей сомнений в том, что Павел Аллилуев был по приказу Сталина отравлен. Вероятнее всего, его угостили отравленной папиросой. Какое "странное" сходство с обстоятельствами смерти профессора Бехтерева.

Окончательное подтверждение моих подозрений я получила во время следствия по нашему делу, по которому была арестована и Евгения Аллилуева. Желая восстановить меня против нее и добиться от меня соответствующих показаний, следователь, полковник Комаров, несколько раз настойчиво убеждал меня в том, что "ваша дорогая Женичка, которую вы так любите", сама отравила Павла — своего мужа, которого она очень любила и от которого ро-

дила троих детей. Младшему из них было в ту пору шесть лет. Нелепость и чудовищность этого обвинения показывают, что отравление, действительно имело место, и Комаров об этом знал. Но только отравителем был Сталин, и это тоже несомненно было известно Комарову.

Даже Светлана, которая *bona fide* принимает официальную версию смерти своего дяди, как и версию о самоубийстве ее матери, пишет: "Позже Берия, уже водворившийся в Москве, выдумывал разные версии его (Павла) смерти и упорно внушал их отцу, вплоть до того, что вдова Павлуши Евгения Александровна *была заподозрена в его отравлении*, Бог знает, что еще говорилось".

Позже я встретила с человеком, близкий родственник которого, работавший в органах безопасности, был другом Павла. Этот человек, имени которого я не могу назвать, потому что он еще, вероятно, жив и находится в СССР, сказал мне, что вскоре после смерти Павла этот его родственник был арестован и погиб. Но еще до своего ареста он успел сказать моему собеседнику, что, как ему достоверно известно, Павла отравили папиросой по прямому приказу Сталина и что после этого Евгения Аллилуева находилась под домашним арестом около месяца. О последнем обстоятельстве — о домашнем аресте Евгении после внезапной смерти ее мужа — я знала и сама раньше, хотя Евгения мне об этом не говорила, очевидно оберегая меня от знакомства с этими страшными тайнами.

Убийство Павла Аллилуева развязало Сталину руки и для расправы со всеми остальными его родственниками. Одной из первых его жертв пал Станислав Реденс, муж Анны Аллилуевой. Реденс, крупный работник "органов", работал сначала на Украине, в Харькове, а затем в Грузии, где он столкнулся с будущим всесильным временщиком Берией, затаившим к нему злобу и враждебность. В начале 30-х годов Реденс занимал пост начальника Московской ЧК. После прихода к власти Берии его перевели на работу в Казахстан, и он уехал со своей семьей в Алма-Ата. Вскоре его вызвали в Москву и арестовали.

Его жена, Анна Аллилуева, мать двух его детей, сумела добиться в виде редчайшего исключения свидания с мужем в тюрьме. Во время этого свидания он сказал ей, что участь его предрешена, и спасти его невозможно. Пусть она даже не пытается хлопотать за него. Этот "клубок змей" по его словам нужно было начать разматывать не с него, а гораздо выше, но это невозможно. Он расстался с Анной в полном понимании неизбежности своей казни. Об этом свидании и о словах Реденса мне рассказывала много позже Евгения.

В ту же пору Сталин расправился и с родственниками своей первой жены Екатерины Сванидзе. Брат ее Александр Сванидзе был хорошо образованным человеком, крупным финансовым работником, который много лет жил и работал в Европе. Он и его жена, певица Мария Корона, были близкими друзьями семьи Аллилуевых и часто бывали у них. Тем не менее, — а вероятно, именно поэтому — еще до отравления Павла

Сванидзе был арестован. Вместе с ним была арестована его жена и их семнадцатилетний сын Джонни.

Александр Сванидзе был расстрелян в одном из лагерей. Когда немцы подходили к Москве, специальные комиссии объезжали по приказу Сталина все лагеря и расстреливала по особым спискам большие группы военных и бывших ответственных работников. Стремилась уничтожить всех, кто мог бы поведать миру о слишком многом, если бы они оказались снова на свободе.

Жена Сванидзе была послана в лагерь, а затем умерла в ссылке. Сын его Джонни Сванидзе провел в лагерях 17 лет и был освобожден только в период массовых реабилитаций после смерти Сталина.

Таким образом, к концу тридцатых годов из всех родственников Сталина в живых оставались, не считая стариков Аллилуевых, только родная сестра Надежды Анна и вдова ее брата Евгения. Сталин затаил глубокую неприязнь к обеим этим женщинам и, конечно, не мог оставить в покое и их. Судьба их была предрешена, но уже в 1939 г. началась Вторая мировая война и было не до того. Однако злопамятность и мстительность Сталина были чудовищны. Он никогда ничего не забывал и не прощал. Расправа с Евгенией и Анной была только отложена до конца войны.

Убийство П. А. Красикова

Когда в 1933 г. была учреждена должность Генерального Прокурора Союза, который формально имел право контроля за деятельностью всех органов советской юстиции, включая и ОГПУ, Сталин не пожелал доверить этот пост Красикову, хотя фактически никакой контроль за органами государственной безопасности советской прокуратурой никогда не осуществлялся. Красиков был переведен на должность заместителя председателя Верховного Суда.

До 1938 года Красиков тихо жил в Кремле, не имея на своем новом посту никакой силы и никакого влияния, не будучи в состоянии чему-нибудь помешать. Но в 1938 году он не выдержал, пошел к Сталину, который не посмел отказать ему в приеме, и в личной беседе со Сталиным, с глазу на глаз, высказал ему в лицо все, что он думал о нем, о его политике и об осуществлявшемся им разгроме старых кадров.

По словам Красикова, это прямое осуждение его действий вызвало у Сталина приступ бешеной, неудержимой ярости. Глаза его побелели, он встал, вытянул руку и, задыхаясь от бешенства, сказал: "Уходите, уходите! Как жаль, что вы — такой старый член партии! Уходите!" Красиков повернулся и вышел. В этот момент его смертный приговор был уже произнесен.

Упорные слухи об аресте Красикова ходили по Москве еще с 1937 года. Нам очень часто звонили

по телефону друзья и знакомые, которые деликатно спрашивали "здоров ли" Петр Ананьевич и не уехал ли он "в командировку". Все это были весьма прозрачно замаскированные способы узнать, не арестован ли он.

Однако ни до разговора в 1938 году, ни даже после этого разговора арестовать Красикова Сталин не решился. Была такая группа старейших членов партии — Крупская, Стасова, Коллонтай, Владимирский, Кржижановский и некоторые другие —, которую Сталин тронуть не посмел. К этой группе принадлежал и Красиков.

После разговора, о котором я рассказывала выше, Красиков был немедленно снят со всех занимаемых им постов, зачислен "в резерв" Народного Комиссариата Юстиции, переведен на пенсию и выселен из Кремля. Семью Красиковых переселили в тот же жилой "Дом Правительства", где жила и я. Но жить ему в этом доме оставалось недолго. Неудержимая месть Сталина ждала его.

До своей опалы Красиков несколько раз уезжал летом во Францию, на воды, чтобы подлечить застарелое заболевание почек. В 1939 году ему отказали (конечно, по приказу Сталина) в средствах на эту поездку, и в августе 1939 года он уехал в санаторий в Железноводск (город на Северном Кавказе). Через несколько дней после его отъезда мы получили из санатория телеграмму о том, что он скоропостижно скончался "от тромба в сердце" (опять "тромб"!) и похоронен на кладбище в Железноводске.

Тогда нам и в голову не приходили никакие подозрения о насильственном характере смерти

Красикова. Нам показалось только очень странным, что там так поторопились с похоронами. Ведь по тому положению, какое Красиков занимал в партии, тело его должно было бы быть привезено в Москву и прах его должен был быть с почетом захоронен в Кремлевской стене на Красной площади. Спешное погребение Красикова в Железноводске можно было объяснить только мстительностью Сталина.

Тем не менее жена Красикова, которую я буду называть просто Наташей, как звала ее всю жизнь, решила сделать попытку перевезти тело мужа в Москву и добиться захоронения его праха на Красной площади. В других случаях скоропостижной смерти получение вагона для перевозки тела было делом не очень трудным. Когда в 1932 году умер на Кавказе мой муж Шатуновский, партийное положение которого было значительно более скромным, чем положение Красикова, то я сравнительно легко получила вагон, перевезла его тело в Москву и похоронила его на Новодевичьем кладбище.

Чтобы получить разрешение на перевозку тела, мы с Наташей пошли к Кагановичу. Ему тогда были подчинены все железные дороги Союза, и он пользовался еще репутацией отзывчивого товарища и человека, хорошо относящегося к старым партийным кадрам. Каганович принял Красикову очень дружески и сказал: "Вы совершенно правильно поднимаете вопрос о перевозке тела в Москву и о захоронении на Красной площади праха самого старого члена партии. Я обещаю вам сделать все, что нужно". Прошло

некоторое время, от Кагановича не было никаких известий и мы с Наташей снова пошли к нему. На этот раз он сказал: "Товарищ Красикова, сделать то, о чем вы просите, невозможно. Я сейчас говорю с вами не только как товарищ, но и как секретарь ЦК со старым членом партии. Тело Красикова не будет перевезено в Москву. Я настаиваю и советую вам никогда и нигде не поднимать этого вопроса".

С тем мы и ушли от Кагановича, догадываясь, что отказ в разрешении перевезти тело Красикова в Москву исходит прямо от Сталина, но по-прежнему не подозревая, что Красиков был убит по прямому его приказу.

Прошло много лет. Уже после того как мы с мужем вернулись в Москву после семилетнего тюремного заключения, Наташа переехала на постоянное жительство в специальный санаторий для престарелых заслуженных членов партии. Была она уже в то время стара и больна, и жить одна не могла. Санаторий, в котором поселилась Наташа, находится в одном из красивейших подмосковных мест, в поселке Переделкино близ станции того же наименования Московско-Киевской железной дороги. Неподалеку находится и очень хороший кардиологический санаторий, в котором позже несколько раз отдыхали и мы с мужем.

До самой смерти Наташи в 1965 году я посещала ее в Переделкине довольно часто. Иногда я ездила туда вместе с Ароном Гиндиным, специалистом по истории партии, который написал незадолго до того, как я с ним познакомилась,

небольшую брошюру о Красикове и готовил материал для большой книги о нем. Он вскоре умер, так и не дописав эту книгу. Материалы о Красикове Гиндин должен был, конечно, искать в партийных архивах, да и самое содержание книги он должен был постоянно согласовывать с работниками Центрального Комитета партии, где ему приходилось часто бывать.

Однажды, когда мы с Гиндиным поехали вместе к Наташе, мы задержались у нее до позднего вечера, потому что она была больна и мы не решились оставить ее одну. Возвращались мы уже очень поздно в пустом вагоне дачного поезда, и здесь Гиндин рассказал мне правду о смерти Красикова. В Центральном Комитете ему сообщили, под секретом, конечно, но вполне официально, что никакого "тромба в сердце" у Красикова не было, а был он в санатории в Железноводске отравлен папиросой по личному приказу Сталина. Тут для меня все стало ясно: и внезапная смерть от "тромба в сердце" человека, который никогда сердечными болезнями не болел и на сердце не жаловался, и страшная поспешность железноводских властей с погребением тела, и отказ Сталина в разрешении перевезти тело в Москву.

Мы долго обсуждали с Гиндиным вопрос о том, нужно ли рассказать Наташе об истинной причине смерти ее мужа. В конце концов мы решили не рассказывать ей об этом. Она была старым членом партии и сохраняла еще прежнюю веру в ее чистоту. Она была стара и уже очень больна. К чему беречь старые раны и причи-

нять ей лишние страдания? Так и умерла моя бедная Наташа, не узнав правды о смерти своего мужа.

Кто ускорил смерть Ленина?

В 1954 году, после смерти Сталина, мой муж и я были освобождены, успев отсидеть в одиночных камерах Владимирской тюрьмы семь лет из двадцати, к которым мы были приговорены за намерение эмигрировать в Израиль. Мы были полностью реабилитированы, вернулись в Москву и возобновили свою работу. Лето 1955 года было первым после нашего освобождения, и мы решили провести два месяца отдыха в подмосковном санатории "Поречье" Академии наук СССР.

В эту пору, которую Эренбург так удачно называл "оттепелью", люди, действительно, немного оттаяли после страшной зимы сталинского террора. Огромное значение имело то, что по настоянию Хрущева была проведена персональная реабилитация всех невинно осужденных, а не всеобщая амнистия политических заключенных, как требовали Маленков, Молотов, Булганин. Это несколько затянуло процесс освобождения, но создавало реабилитированным совершенно иное общественное положение. Эти меры нового правительства рождали веру в то, что оно искренне стремится исправить прежние несправедливости и сделать невозможным их повторение.

Поверили в это и мы, прошедшие не один круг сталинского ада. Поверили, быть может, потому, что очень уж хотелось поверить во что-нибудь хорошее, и потому, что мы тогда еще не полностью

изжили "социалистические" иллюзии. Трудно было сразу расстаться с ними, трудно было полностью осознать, что сталинщина — это не случайное извращение "хорошего" марксистско-ленинского социализма, а его логическое развитие и завершение. Ведь даже такой большой писатель как Солженицын, не сразу понял это и только в "Архипелаге ГУЛАГ" сумел показать, что система террора и варварства ведет свое начало от Ленина и что она имманентна самой сущности коммунизма. К нам тоже лишь значительно позже пришло понимание того, что победа всякого социализма — русского, китайского, арабского или какого-нибудь иного образца — неизбежно ведет к социальному рабству, экономическому разорению и культурной деградации.

Во всяком случае, в то счастливое лето иллюзий люди почувствовали себя несколько раскрепощенными. Они начали привыкать к странной для всякого советского человека мысли, что жить можно и "не по лжи", что говорить можно и нужно то, что думаешь, а не то, что предписано высочайшими руководящими указаниями. Люди перестали видеть в каждом своем собеседнике доносчика, если не прямого агента-provокатора органов государственной безопасности. Так и случилось, что я смогла узнать от человека, очень близкого в свое время к Сталину, о той зловещей роли, которую сыграл Сталин в ускорении смерти Ленина.

... Санаторий "Поречье" находится вблизи старинного Звенигорода, в одном из самых живописных уголков Подмосковья. Кроме главного

корпуса — расширенного и переделанного особняка какого-то богатого московского купца — там имелся тогда небольшой старый одноэтажный дом, стоявший среди леса вблизи пологого берега Москва-реки. В нем мы и предпочли поселиться, потому что там было малоллюдно, тихо и спокойно, а покой и тишина были всего нужнее нам после пережитого.

Как-то утром, когда я читала, сидя на террасе этого дома, в кресло напротив меня опустился совершенно седой человек, лицо которого поразило меня и показалось знакомым. Мы, прошедшие сталинские следствия, тюрьмы и лагеря, умеем распознавать друг друга по каким-то неуловимым, нам одним видимым признакам. Человек, сидевший около меня, долго смотрел на меня, на мою голову, тоже поседевшую в тюрьме, и наконец сказал: "Товарищ, мне кажется, что я помню ваше лицо совсем молодым и вашу голову без седины. Моя фамилия — Гронский". И я ему ответила: "Иван Михайлович! А я — Лидия Шатуновская". Так мы возобновили наше знакомство после двадцатилетнего перерыва.

В 30-е годы Гронский был главным редактором правительственного официоза — газеты "Известия". Но, кроме этого своего должностного положения, был он чем-то вроде комиссара по делам литературы непосредственно при Сталине. Через него Сталин получал информацию обо всем, что происходило в литературе, и через него осуществлялись связи Сталина с писательской средой.

В то время болезненная подозрительность и мания преследования еще не приняли у Сталина таких страшных форм, как впоследствии. Сталин еще не был так отгорожен от всего мира и не охранялся с такими фантастическими предосторожностями. Гронский, как один из очень немногих близких людей, имел право входить к нему без доклада.

В числе прочих обязанностей на Гронского была возложена и весьма деликатная функция надзора за Горьким. Об этом лицемерном, себялюбивом, корыстном и жадном человеке, о той зловещей роли, которую сыграл этот писатель в разгроме русской культуры, о том, каких морей крови стоили стране его крылатые словечки, освящавшие террор, вроде "лес рубят -- щепки летят", -- обо всем этом можно и нужно было бы говорить очень много. Но здесь я хочу лишь отметить со слов Гронского только одну черту, которая характерна для отношения большевиков к деятелям культуры. Сама по себе вся культура, созданная человечеством, для большевиков никакой ценности не имеет. Она важна и нужна лишь в той мере, в какой ее можно использовать в целях партии. В этом и заключается суть ленинского учения о "партийности в литературе".

Стремясь унифицировать всю культурную жизнь страны и поставить всю ее на службу своей пропаганде, большевики создали единый Союз писателей. Это не было профессиональное объединение писателей, предназначенное защищать их интересы, в частности право на свободу мысли и слова. Напротив, Союз писателей, заменивший и

отменивший все прежние свободные творческие группировки писателей, и задуман был именно для того, чтобы всякую свободу мысли задушить и уложить всю литературу в прокрустово ложе так называемого "социалистического реализма", превратив ее в слепое орудие партийной пропаганды. Для этого Союзу писателей были даны и все средства для подкупа писателей: деньги, дачи, возможности печататься неограниченными тиражами, заграничные поездки, реклама и т. д.

С течением времени, как известно, этот Союз выродился в некий гибрид отдела пропаганды ЦК и КГБ, презираемый всеми, кто в России еще сохранил свою честь и право считаться интеллигентным человеком. В 30-е годы, когда этот Союз только создавался, во главе его необходимо было поставить человека с именем, — тогда еще желательно беспартийного, но вполне управляемого. На эту роль был выдвинут Горький, которому и отдана была литература в полную власть.

Но, создав Горькому неслыханный авторитет, напечатав его сочинения фантастическими тиражами, обеспечив ему возможность вести в его подмосковном имении и городской усадьбе такой образ жизни, какой не снился и богатейшим помещикам, — коммунистические руководители в глубине души все же Горькому не вполне доверяли. Как ни как, а все же Горький был интеллигентом, человеком культурным и потому для большевиков чуждым и непонятым. Не забыто было, вероятно, и бывшее вольнодумство Горького, его резкие антибольшевистские выступления в первые месяцы после Октябрьской революции.

Гронский и был приставлен Сталиным к Горькому. Он должен был следить за тем, чтобы "великий пролетарский писатель" нигде и никогда не сбивался с официальной линии, чтобы он говорил публично поменьше глупостей и поменьше проливал слез умиления на народе.

Как и следовало ожидать, в 1937 году Гронский был арестован, объявлен "врагом народа" и провел после этого 16 лет в тюрьмах и в лагерях Колымы, о которых было уже написано немало. Немногие вернулись из этих лагерей, но Гронский сумел выжить. Только его железная воля и железное здоровье дали ему возможность вернуться полноценным человеком с этого, одного из самых страшных островов "Архипелага ГУЛаг". В суровые колымские морозы Гронский ежедневно делал на открытом воздухе утреннюю гимнастику и обтирался снегом.

В 1954 году Гронский был реабилитирован и вернулся в Москву, а несколько позже мы немало смеялись, прочитав в "Правде" заметку о том, что в Институт Мировой Литературы Академии Наук СССР направлен *"для укрепления идеологической работы"* старый большевик Гронский.

После того как наше знакомство возобновилось, мы с Иваном Михайловичем часто гуляли и обо многом друг другу рассказывали. Особенно много интересного рассказывал мне он. Как же глубоко верили мы тогда в "оттепель", если во время одной из этих прогулок Гронский, человек очень умный и очень осторожный, поделился со мной, беспартийной женщиной, своими

предположениями о смерти Ленина и о той загадочной роли, которую сыграл Сталин в ускорении этой смерти.

Когда через несколько месяцев мы встретились с Гронским в Москве, это был уже совершенно иной человек — очень сдержанный, очень осторожный и достаточно правоверный. Трудно сказать, что было тому причиной — восстановление ли Гронского в рядах партийной идеологической бюрократии или явно ощущавшийся конец "оттепели" и изменение общего политического климата в стране. Вероятно, имело значение и то и другое. Но тогда, в первое лето после нашего освобождения, Гронского, как говорится, "прорвало", и он прямо поделился со мной своей уверенностью в том, что Сталин активно и сознательно ускорил смерть Ленина, ибо, как бы тяжело ни болел Ленин, пока он был жив, дорога к абсолютной диктатуре была для Сталина закрыта.

Вот что рассказал мне Иван Михайлович Гронский. В 30-е годы, когда Сталин еще только рвался к власти, он считал необходимым поддерживать кое-какие личные отношения с некоторыми старыми партийными деятелями и с избранными представителями интеллигенции. Ясно понимая роль литературы в системе идеологической обработки народных масс, Сталин уделял особое внимание контактам с группой руководителей Союза писателей, на которых возложена была важная задача превратить всю русскую литературу в придаток советского пропагандистского аппарата и для того внедрить "социалистический

реализм" как единый и общеобязательный метод художественного творчества. Поскольку же дружеские контакты на всех уровнях осуществляются в Советской России преимущественно при помощи выпивок, то Сталин поручал Гронскому организовывать время от времени вечеринки для писательской элиты с обязательной выпивкой и отменной кулинарией. В такой обстановке только и общался "вождь" со своими подручными, "инженерами человеческих душ".

На одной из таких вечеринок выпито было чрезмерно, и товарищи писатели упились до полной потери сознания. Сталин, который тогда еще был относительно молод и не так берег себя, тоже хватил сверх меры. Единственным трезвым человеком в этой компании был Гронский, который находился, так сказать, при исполнении служебных обязанностей и должен был за всем следить.

Поздно ночью, когда Сталина совсем развезло, он, к ужасу Гронского, начал рассказывать присутствующим о Ленине и об обстоятельствах его смерти. Он бормотал что-то о том, что он один знает, как и от чего умер Ленин. Писатели уже были настолько пьяны, что ровным счетом ничего не поняли и не проявили никакого интереса к пьяному бормотанию Сталина.

Гронский же, будучи трезвым, оценил всю опасность ситуации и принял смелое решение. Человек крупный и физически сильный, он на руках вынес пьяного Сталина в соседний кабинет и уложил его на диван, где тот сейчас же и заснул.

После этого Гронский вызвал охрану. Перепившихся писателей вынесли, уложили в автомобили и развезли по домам, а Гронский просидел весь остаток ночи возле Сталина. Особенно знаменательна была утренняя реакция Сталина. Проснувшись, он долго, с мучительным трудом, вспоминал, что же произошло ночью, а вспомнив, вскочил в ужасе и бешенстве и набросился на Гронского. Он тряс его за плечи и истоптленно кричал: "Иван! Скажи мне правду. Что я вчера говорил о смерти Ленина? Скажи мне правду, Иван!" Гронский пытался успокоить его, говоря: "Иосиф Виссарионович! Вы вчера ничего не сказали. Я просто увидел, что вам нехорошо, увел вас в кабинет и уложил спать. Да к тому же, все писатели были настолько пьяны, что никто ничего ни слышать, ни понять не мог".

Постепенно Сталин начал успокаиваться, но тут ему в голову пришла другая мысль. "Иван! — закричал он. — Но ведь ты-то не был пьян. Что ты слышал?" Гронский, по его словам, почувствовал себя в смертельной опасности: в своей подозрительности и гневe Сталин был страшен. Гронский, конечно, всячески пытался убедить Сталина в том, что ничего о смерти Ленина сказано не было, что он, Гронский, ничего не слышал и увел Сталина просто потому, что все присутствующие слишком уж много выпили.

Но когда Сталин внешне уже как будто успокоился, Гронский понял, что отныне вся маниакальная подозрительность Сталина будет направлена против него. И действительно, с этого дня отношение Сталина к Гронскому совершенно изменилось, а в 1937 году Гронский был арестован.

В целом вся описанная выше сцена не оставила у Гронского никаких сомнений в том, что смерть Ленина была каким-то образом искусственно ускорена и что это было сделано при прямом участии Сталина. Конечно, прямых и неопровержимых доказательств этого, таких доказательств, какие были бы необходимы суду для вынесения обвинительного приговора, нет. Да их и не может быть. Даже если когда-нибудь и будут вскрыты все тайные архивы коммунистической партии и ОГПУ, то вряд ли историки найдут в них материал, который позволил бы пролить полный свет на то бездонное болото грязи и крови, которое лежит под покровом официальной советской внутренней и внешней политики. Документы уничтожались, а люди, знавшие слишком много, безжалостно истреблялись.

Если эти строки попадут когда-нибудь в руки советских читателей, то одним из них приведенные соображения покажутся, быть может, достаточным доказательством вины Сталина, другим, возможно, они не покажутся столь убедительными. Одни вынесли бы Сталину по этому делу обвинительный вердикт, другие оставили бы его "под подозрением" за недостатком улик. Но в чем я абсолютно уверена, это в том, что ни одному советскому гражданину предположение о том, что Сталин убил Ленина, не показалось бы невозможным. Напротив, ни у кого не возникло бы сомнений в том, что Сталин *мог* сделать это.

И действительно, тайное убийство — это испытанное орудие большевистской тактики, применяющееся всегда, когда по тем или иным сообра-

жениям неудобно или невозможно применить аппарат официального преследования. Почему бы собственно человек, организовавший убийство Троцкого, не мог бы ускорить и смерть Ленина? Это вполне соответствует основам коммунистической идеологии. Если отброшена всякая мораль, если единственный принцип — "цель оправдывает средства", то чем тайное убийство хуже, чем "Архипелаг ГУЛag" или танки на улице Праги.

КАК ФАБРИКОВАЛИСЬ ШПИОНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Дело Михозлса—Аллилуевых

В начале декабря 1947 г. органами советской тайной полиции (Министерства Государственной Безопасности) была арестована Евгения Аллилуева, вдова брата Надежды Аллилуевой Павла, который был тайно отравлен по приказу Сталина. Вместе с ней была арестована и ее дочь Кира. Через месяц была арестована и старшая сестра Надежды Аллилуевой Анна, муж которой Станислав Реденс был казнен по приказу Сталина в годы Большого Террора.

Тринадцатого января 1948 года агентами МГБ был убит в городе Минске выдающийся актер и крупнейший еврейский общественный деятель Соломон Михозлс. Было объявлено, что он, якобы, стал жертвой автомобильной катастрофы, но сейчас эта ложь уже разоблачена даже официально, и убийство Михозлса агентами МГБ — это факт, установленный с полной несомненностью.

В промежутке между этими событиями в Москве была арестована большая группа евреев-интеллектуалов, в том числе мой муж, профессор Лев Тумерман, и я.

Постороннему наблюдателю нелегко усмотреть связь между этими, казалось бы, разрозненными событиями, тем более, что многие из арестованных не были лично знакомы ни с родственниками Сталина ни даже друг с другом. Поэтому

лишь очень немногие знают о том, что все эти аресты были звеньями одной цепи, этапами осуществления одного преступного сталинского замысла, целью которого было "окончательное решение" еврейского вопроса в СССР по гитлеровскому образцу.

Все дело "Михозлса — Аллилуевых" было совершенно секретным. Велось оно под личным руководством и наблюдением Сталина. Преступники, чьими руками Сталин осуществлял свои гнусные замыслы, — Лаврентий Берия, министр госбезопасности Абакумов, полковники Комаров и Лихачев, проводившие так называемое следствие по этому делу, — были позже, в период разоблачения "культа личности", расстреляны, а все документы надежно погребены в секретных архивах советской тайной полиции.

Часть жертв этого процесса погибла в тюрьмах, другие умерли после освобождения, а немногие, оставшиеся еще в живых и знающие кое-что о подоплеке этого дела, живут в СССР и, конечно, боятся даже вспоминать о нем. Мы с мужем — единственные жертвы этого сталинского замысла, которым удалось вырваться в свободный мир. Мой долг — поведать всему миру правду об этом страшном деле.

Сценарий процесса

"Дело Михозлса — Аллилуевых", по которому и мы с мужем были арестованы, представляло собой часть обширного, задуманного Сталиным политического замысла. Оно разворачивалось, поэтому, по заранее тщательно продуман-

ному сценарию, смысл и назначение которого стали нам в ходе следствия совершенно ясны. Предполагался открытый процесс, на котором должна была быть вскрыта такая картина: националистически настроенные еврей-интеллектуалы, подстрекаемые сионистской пропагандой и завербованные американской разведкой, создали в Москве два обширных шпионских центра. Один из них сконцентрировался вокруг Аллилуевых, особенно Евгении. Душой и руководителем второго центра (а, может быть, и обоих) был Михоэлс. "Американо-сионистские" шпионы из первого центра добывали через Аллилуевых секретную информацию, главным образом о личной жизни (личных преступлениях?) Сталина, и передавали эту информацию Михоэлсу, от которого она прямо поступала в органы американской разведки. Нелепо — скажете вы? Не более, чем тысячи других "дел".

Что же таилось за этим бездарным и аляповато-грубым сценарием, которого постыдился бы любой бесталанный поставщик массовой детективной литературы? Ради чего нужно было принести в жертву несколько десятков человек, в полной невиновности которых, конечно, не сомневался никто из решавших их судьбу? Все это дело было задумано с той же целью, что и инсценированный несколькими годами позже процесс "врачей-убийц". В обоих случаях открытый процесс нужен был для того, чтобы показать, что евреи являются врагами и предателями социалистической родины, и разжечь против них гнев народа.

При таком построении "сценария" на роль центральной фигуры в еврейском шпионском центре был обречен Михоэлс. Судьба послала мне счастье быть близко знакомой с ним, и я хочу поделиться с читателем моими воспоминаниями об этом великом трагическом актере и выдающемся еврейском общественном деятеле.

Унификация всей культурной жизни страны, полное подчинение ее "руководящим указаниям" полутрамотных партийных боссов и установление строжайшей партийной опеки над всеми проявлениями творческой жизни страны, привели эту жизнь в состояние глубочайшей деградации и упадка. Особенно трудным было положение советской драматургии и советского театра, несмотря на наличие большого числа весьма талантливых актеров и режиссеров. Система коверкала их и не давала им возможности свободного творчества.

Театр с его ограниченным числом трупп и пьес легче было держать под неусыпным контролем советских церберов, чем литературу. Если изредка кое-что из подлинной литературы могло проскользнуть в печать по недосмотру цензоров или по либерализму отдельных редакторов, если позже Самиздат еще открыл некую, хотя и очень ограниченную, возможность свободного творчества, то для театра и это было невозможно. А вместе с театром оказалась обескровленной и оскопленной драматургия. За 60 с лишним лет советской власти не было написано и не было поставлено ни одной русской (не переводной) пьесы, которая имела бы хоть какую-нибудь

художественную ценность и могла бы остаться в русской драматургии.

Особенно тяжелым было положение трагедии на советской сцене. За все эти годы не было сделано даже попыток написать советскую трагедию, а попытки постановки на советской сцене трагедий классических были немногочисленны и встречались властями недружелюбно. Поставленные трагедии быстро сходили со сцены, потому что сверху неуклонно навязывалась подмена подлинного трагизма дешевой "революционной героиней" и мелкой бытовой драматургией, подчиненной задачам сиюминутной пропаганды.

За все послереволюционные годы можно назвать лишь немного подлинно трагических спектаклей, поставленных на советской сцене. Если не говорить о нескольких потрясающих ролях Михаила Чехова, вынужденного рано оставить СССР, то мне запомнились разве что "Федра" и "Адриенна Лекуврер" с Алисой Коонен, "Матушка Кураж" с Юдифью Глизер да "Отелло" и "Уриель Акоста" с Остужевым. Актер Малого театра Остужев всю жизнь мечтал о трагических ролях, но получил возможность играть их лишь к старости, когда он оглох и из-за глухоты был вынужден всегда стоять на сцене лицом к партнеру.

И вот в этой удушливой обстановке Соломон Михоэлс, который и тогда считался человеком трудно управляемым и к тому же "националистом", что в советском обществе и само по себе есть страшная кличка, играет на сцене еврейского театра в Москве "Короля Лира". Играет во-

преки официальной партийной линии и вместо навязывавшегося ему советского или классического русского репертуара, играет бессмертную трагедию Шекспира на языке еврейских народных масс "идиш". Михоэлс понимал, что подлинную трагедию — такую, как "Король Лир", — можно играть на любом языке, ибо она всечеловечна и вневременна. Ставил же Моисси софокловского "Эдипа" на немецком языке. Но нельзя в России играть на языке "идиш" чисто русскую бытовую драму или комедию, например "Ревизора", которого упорно навязывало Михоэлсу тупое начальство.

Замечательный художник Тышлер создает для этого спектакля оформление, потрясавшее зрителя глубиной своего проникновения в дух пьесы и замысел спектакля. Композитор Лев Пульвер пишет к этому спектаклю превосходную музыку. В труппе, воспитанной Михоэлсом, находятся актеры, способные "поднять" этот трудный спектакль. В их числе был безвременно загубленный МГБ актер Зускин, изумительно сыгравший роль шута. Сам Михоэлс создает незабываемый, далекий от всех традиций и шаблонов образ Лира — человека, потерпевшего крушение из-за трагической ошибочности своего миропонимания. Спектакль становится одной из вершин советского театрального искусства за все годы революции, и этого триумфа советские власти никогда не могли Михоэлсу простить.

В течение многих лет "Король Лир" пользовался огромным успехом у зрителей, в том числе и у русской интеллигенции, которая полностью приняла этот спектакль, несмотря на то, что он шел

на чуждом ей языке. Да и среди еврейской интеллигенции очень многие (и я в том числе) языка "идиш" не знали, что не мешало нам получать от спектакля огромное эстетическое наслаждение.

Приведу лишь один пример того, как принимали этот спектакль лучшие представители русской театральной культуры. Как-то, соскучившись по Михозлсу — Лире, я зашла в еврейский театр, чтобы снова — в который раз? — посмотреть этот спектакль. С первых слов на сцене я поняла, что этот вечер для Михозлса необычен, что он чем-то очень взволнован. Я начала искать в зале причину волнения. И нашла. Недалеко от меня сидел Леонидов, один из самых талантливых актеров старшего поколения Московского Художественного Театра. Я была знакома с Леонидовым, неоднократно встречалась с ним и знала его актерскую судьбу, знала, что он всю жизнь мечтал сыграть Лира. Здесь не место говорить о тех внутренних и внешних причинах, которые мешали ему "поднять трагедию". Но именно поэтому ему было особенно важно и особенно трудно смотреть Михозлса — Лира. Он был бледен и буквально впитывал в себя каждый жест, каждую интонацию Михозлса, который чувствовал это и играл в этот вечер для Леонидова.

В последнем антракте Леонидов пошел за кулисы. Я не посмела подняться в артистическую уборную Михозлса. Я не посмела помешать "трагическому" разговору двух больших мастеров. Но после спектакля я зашла к Михозлсу, сказала ему, что сразу почувствовала его волнение и спросила, как прошла беседа с Леонидовым.

”Да, вы правы, — сказал мне Михозлс, — мы были оба взволнованы: он — в зрительном зале, а я — на сцене. Он обнял меня, заплакал и сказал, что такого короля Лира он не видел за всю свою жизнь”. А ведь Леонидов видел в этой роли лучших трагических актеров мира.

Связь Михозлса с еврейским народом была совершенно органичной. Я помню его слова, сказанные мне в зиму 1938/39 года после очередного ”разгрома” еврейского театра в Комитете по делам искусств. ”Вы ведь понимаете, — сказал он, — что я прежде всего еврей. Все, что я делаю, это — еврейское и для евреев. У меня даже руки, даже пальцы еврейские”. А о руках Михозлса, подлинно актерских руках, о его пальцах можно бы, кажется, написать отдельную книгу.

Я остановилась на воспоминаниях о Михозлсе с излишними, может быть, подробностями не только потому, что он был мне очень дорог. У меня нет сомнений в том, что накапливавшаяся годами зависть к этому яркому и талантливому человеку создавала в верхушке советских правящих кругов тот общий фон недовольства Михозлсом и недоброжелательства по отношению к нему, который сыграл значительную роль в его трагической судьбе. Но, конечно, решающее значение в этом имела общественная роль Михозлса, создавшая ему положение как бы неофициального представителя еврейского народа, выразителя его чувств и стремлений.

Особенно значительной стала общественная роль Михозлса в годы второй мировой войны, когда Сталин был вынужден в какой-то мере

считаться с общественным мнением в странах своих союзников. В Москве был создан Еврейский Антифашистский Комитет, во главе которого, конечно, поставили Михоэлса. Его даже послали с пропагандистскими целями в Европу и в США. Он сумел привлечь к Советскому Союзу симпатии очень широких кругов американской еврейской и нееврейской общественности и собрал для СССР немалые денежные средства, что тоже было весьма существенно.

Во время войны работа Еврейского Антифашистского Комитета и лично Михоэлса была весьма полезна Советскому Союзу, и потому в эти годы поддерживалась популярность такого "выгодного" еврея. Но когда после войны Сталин, опьяненный победой и поощряемый податливостью и угодничеством Черчилля и Рузвельта, решил, что настала пора сбросить маску и взять судьбу евреев в СССР в свои кровавые руки, судьба Михоэлса была решена.

Сталин и его соратники понимали, что их первой жертвой должен был стать Михоэлс, потому что, не уничтожив его, нельзя было приступить ни к подавлению всех остатков еврейской национальной культуры, ни к осуществлению программы физического истребления всех евреев в СССР и в подвластных ему странах-сателлитах. Но вместе с тем положение Михоэлса и его популярность за рубежом, особенно в США, были таковы, что трудно было просто арестовать его и тайно сгноить в одном из тех лагерей, где был погублен цвет всех народов СССР. Да к тому же, этим и не достигалась бы основная политическая цель заду-

манной акции — вскрытие предательской и шпионской деятельности всего советского еврейства. Нужно было не просто уничтожить Михоэлса, а сделать его центральной фигурой большого открытого антиеврейского процесса, который оправдал бы все последующее развитие кровавых и безумных замыслов Сталина. Поэтому нужно было начать не с ареста Михоэлса, а с разоблачения якобы созданной им шпионской организации. Михоэлс должен был быть арестован на основании показаний его разоблаченных агентов. О причинах, по которым в этот первоначальный сценарий были внесены изменения и Михоэлс был не арестован, а подло убит, я скажу ниже.

По первоначальному сценарию требовалось также существование второго шпионского еврейского центра вокруг Аллилуевых — главным образом вокруг Евгении. Привлечение к этому делу близких родственников Сталина имело, конечно, и политическое значение. Оно придавало всему процессу тот налет великосветскости, который необходим во всяком низкопробном детективном романе, и вместе с тем позволяло показать все коварство еврейских замыслов. Вот, мол, как высоко, в какие сферы забрались еврейские шпионы. Но, думаю, основной причиной того, что были арестованы эти женщины, не имевшие никакого, ни прямого ни косвенного, отношения к еврейским делам, было давнишнее затаенное стремление Сталина разделаться с последними родственницами убитой им жены его Надежды, а также давняя неприязнь Берии к Евгении Аллилуевой.

В истоках ненависти Сталина к последним родственницам Надежды сплелись различные психологические факторы. Я говорила уже раньше о маниакальном стремлении Сталина истреблять всех членов семьи убитых им бывших друзей и соратников. Анна и Евгения Аллилуевы были не только близкими родственницами убитой им Надежды. Они были и вдовами людей, которых Сталин отправил на смерть. Чувство вины, ощущение "дурной совести" неизбежно должны были перейти у человека типа Сталина в ненависть к этим женщинам. С другой стороны, Сталин, живший всю жизнь под гнетом разоблачения тайн его темного прошлого, мог опасаться того, что эти женщины о слишком многом догадываются или слишком много знают. В своей параноической мании преследования он мог считать их опасными для себя.

Всесильный временщик Лаврентий Берия, руководитель всех органов государственной безопасности, также имел свои основания не любить Евгению Аллилуеву. При жизни своего мужа Евгения часто встречалась по-семейному со Сталиным и с постоянным посетителем знаменитых сталинских застолий Берией. Женщина она была на язык острая, за словом в карман не лезла и иногда за общим столом высмеивала Берию, ставила его в смешное положение. Сталину это очень нравилось. Он любил, когда при нем унижали и высмеивали его ближайших соратников, но Берия таких вещей не забывал и не прощал.

Зловещую роль в судьбе этих двух женщин сыграл и сын Сталина Василий — мерзкий выро-

док, беспробудный пьяница, развратник и убийца, способный на любые преступления и совершивший их немало. В начале войны Василий Сталин был выпущен из летной школы, где к нему был приставлен отдельный инструктор. Он даже как будто совершил несколько боевых вылетов на фронте (под надежным эскортом, конечно). После этого подхалимы из сталинского окружения доложили ему, что его сын — "выдающийся летчик", и с этого началась головокружительная карьера Василия Сталина, протекавшая в основном в Москве, вдали от фронтов и связанных с ними опасностей. К концу войны Василий стал генералом и был назначен командующим авиацией Московского военного округа. Правда, с этого поста его вскоре пришлось снять за пьянство, недисциплинированность и полную непригодность к работе.

По словам генерала авиации Угера, о котором я расскажу дальше, Василий организовал во время войны какую-то "инспекцию Сталина" по истребительной авиации. Расчет был на то, что никто не мог понять, о каком Сталине идет речь. Вел он себя в этой инспекции, как совершенно распустившийся самодур. Безобразничал, бил по лицу заслуженных летчиков. Говорили, что один из генералов, которого Василий бил по лицу, застрелился, написав, что жить с битой физиономией он не может, а расправиться с сыном Сталина не считает возможным. Во всяком случае, Угер говорил нам, что боевые летчики на фронте ненавидели Василия Сталина смертной ненавистью и что, если бы он отважился летать на фронте без достаточного эскорта, то они нашли бы удобный случай сбить его.

Ареной кутежей и диких оргий с московскими проститутками служили Василию во время войны квартиры его теток — Евгении и Анны Аллилуевых — в Доме Правительства. Квартиры эти были свободны, потому что хозяйки их были эвакуированы в Свердловск и Куйбышев. О том, что происходило в этих квартирах рассказывали чудовищные вещи. Говорили, что Василий Сталин лично убил милиционера, пытавшегося навести там хоть какой-нибудь порядок. О том, какой характер носили эти оргии и какие преступления там совершались, говорит и тот факт, что после смерти Сталина и ареста Берии Василия судили и приговорили к 8 годам тюремного заключения. Он отбывал это наказание в той же Владимирской тюрьме, где семь лет томились и мы. Через несколько лет Василия досрочно освободили. Он получил большое единовременное денежное пособие, ему была назначена генеральская пенсия и предоставлена прекрасная, полностью обставленная квартира в Москве. Как ни как, хоть и осужденный преступник, а все же сын "самого" Сталина!

В своей новой квартире и в дорогих московских ресторанах Василий возобновил свой прежний образ жизни, с попойками и оргиями. Все это приняло настолько скандальный характер, что его снова посадили в тюрьму досиживать положенный ему срок. На этот раз он сидел уже не во Владимирской тюрьме, а в Бутырской тюрьме в Москве. По отбытии срока ему не разрешили жить в Москве, а отправили доживать свой век в Казань, где он вскоре и скончался от беспробудного пьянства.

Когда в конце 1942 года Евгения и Анна Аллилуевы вернулись в Москву, они, конечно, выгнали Василия из своих загаженных квартир, после чего Василию была предоставлена в том же доме отдельная квартира, в которой он продолжал вести прежний образ жизни. Случайно эта квартира оказалась в одном подъезде с квартирой известного историка академика Тарле, с которым я была хорошо знакома. Я помню, с каким ужасом Тарле, старый интеллигент, человек не от мира сего, говорил мне о постоянных криках, которые по ночам доносятся к ним из квартиры Василия Сталина.

Поссорившись со своими тетками, Василий, который был злопамятен, как его отец, начал восстанавливать Сталина против них. Он уверял отца, что по городу якобы распространяются порочащие Сталина слухи о том, что его родственницы занимают слишком роскошные квартиры в то время, как в Москве жилищный кризис очень силен и квартир не хватает. Это было неверно. Аллилуевы жили, хотя и прилично, но значительно скромнее, чем вся свора высших партийных и советских чиновников. Евгения Аллилуева, в частности, занимала в Доме Правительства хорошую квартиру из пяти комнат. Но в этой квартире с ней жили трое ее взрослых детей и ее второй муж инженер Молочников со своими двумя взрослыми детьми — сыном и дочерью. Пять комнат для семьи из семи взрослых людей это не чрезмерно много даже по советским стандартам. Тем не менее Сталин, который любил время от времени делать широкие "демократические"

жесты и не прочь был ущемить ненавистных ему родственников, распорядился отобрать у них "лишние" комнаты. У Евгении Аллилуевой отобрали две комнаты и вселили в них генерала Угера, а в квартиру Анны Аллилуевой вселили вновь назначенного заместителя министра металлургии Коробова.

Если учесть, что Василий Сталин был в очень приятельских отношениях с Берией и со всей верхушкой органов государственной безопасности, то станет совершенно несомненным, что и он приложил руку к аресту своих двух теток.

Так или иначе, было решено "соединить полезное с приятным" — извлечь из ареста Аллилуевых некоторые политические выгоды и вместе с тем дать выход маниакальной злопамятности Сталина. Судьба этих женщин была решена: вокруг них должен был плести свои интриги еврейский шпионский центр, через них он должен был добывать секретную информацию.

Действующие лица

Итак, сценарий процесса разработан и утвержден. "Сих дел мастера" могут приступить к постановке. Прежде всего, как в каждом спектакле, нужно подобрать исполнителей для всех намеченных сценарием действующих лиц. Главные исполнители были ясны: Евгения и Анна Аллилуевы, с одной стороны, и Михозлс как глава и руководитель американо-сионистской шпионской организации, с другой. Ясна была и моя роль в этом зловещем спектакле. Поскольку Михозлс не был даже просто знаком с Аллилуевыми, должен был,

очевидно, существовать какой-то "связной", то есть человек, осуществляющий связь между кругом лиц, добывающих информацию от преступно доверчивых Аллилуевых, и Михозлсом, связанным с американской разведкой. Кто же подходил на эту роль лучше, чем я, многолетний близкий друг Евгении Аллилуевой и человек, связанный с Михозлсом и узами дружбы и профессиональными интересами? Ну, а уж если я являюсь активной шпионкой, то, конечно, и мой муж служит тому же делу — тем более, что он не раз отличался подозрительной склонностью к ереси и вольнодумству и даже не раз высказывал "идеалистические" взгляды на заседания философского семинара. Наша судьба была решена с самого начала.

Но, как читатель понимает, двух человек маловато даже для одного приличного шпионского центра, а уж для двух таких центров тем более. Нужно было подобрать еще группу евреев-интеллектуалов, которых можно было бы "пришить" к этому делу. Кого именно арестовать — особого значения не имело. Как гласил черный московский юмор, "был бы человек, а статья для обвинения всегда найдется".

Поэтому хватали кого попало, кто, как говорится, под руку подвернется, заботясь лишь о том, чтобы эти люди принадлежали к кругу еврейской интеллигенции и занимали достаточно высокое общественное положение. Нужно было "пришить" к делу Аллилуевых-Михозлса достаточное число таких людей, чтобы "доказать" на основе вырванных у них показаний враждеб-

ность всего еврейства советскому строю и социалистической Родине. То, что многие из этих людей не были знакомы ни с Аллилуевыми, ни с Михозлсом, ни с нами, ни даже друг с другом, не имело значения. В советской юриспруденции это не мешало им быть членами одной организации.

Позвольте же мне, читатель, представить вам некоторых из этих действующих лиц, чтобы показать вам, как случайно, без всякой своей вины, люди в СССР становятся жертвами преступных замыслов советских вождей.

* * *

Генерал-майор Военно-воздушных сил Георгий Угер вступил в ряды Красной Армии в период Гражданской войны, будучи еще очень молодым человеком. Он прошел в этой армии весь путь от рядового до генерала, получил специальное высшее образование и, будучи человеком весьма одаренным, стал одним из крупнейших советских специалистов в области авиационной радиотехники. Был он, конечно, и членом коммунистической партии (без этого в СССР продвинуться нельзя), но в виде редкого исключения он остался человеком лично весьма порядочным.

Во время войны Угер был заместителем начальника крупнейшего Авиационного испытательного института, расположенного в г. Чкалове под Москвой. Там он и жил. Когда же к концу войны при Совете Министров был создан специальный Комитет по радарной технике под председательством Г. М. Маленкова, то после войны Угер сна-

чала был послан в Германию для изучения немецкой радарной техники, а затем был назначен заместителем Маленкова, то есть фактическим руководителем Радарного комитета. В связи с этим новым назначением он должен был переехать в Москву и получить там жилье. В Центральном Комитете партии ему дали ордер на те две комнаты в квартире Евгении Аллилуевой, которые, как я уже упоминала, были отобраны у нее по приказам Василия Сталина. Это и решило судьбу Угера и его русской жены.

Угер был человеком очень образованным и интересным, а жена его отличалась характером весьма приветливым и уживчивым. О необычайной обаятельности Евгении Аллилуевой я уже писала. Естественно, что, когда судьба заставила эти две интеллигентные семьи жить в одной квартире, то между ними установились дружеские отношения. Этого оказалось достаточно, чтобы генерал Угер с его безупречным военным послужным списком был включен в число "еврейских шпионов" и был арестован вместе со своей женой. Их арестовали в ту же ночь, что и нас. Они оставили сына-школьника и маленькую дочь. Угер был осужден на 15 лет тюремного заключения, которое он отбывал в той же Владимирской тюрьме, что и мы, а жена его была послана в один из страшных лагерей на крайнем севере Сибири. Оба они были освобождены и реабилитированы в 1954 году.

В начале 1953 года, когда осужденных по нашему делу начали соединять по двое в одной камере, муж мой провел несколько месяцев с

Угером и они очень подружились. У них нашлось много общих научных интересов и одно время они даже разрабатывали вместе какие-то научные замыслы. Дружба между нашими семьями продолжалась и после освобождения, так же как и дружба между семьями Угера и Евгении Аллилуевой.

После своего освобождения и реабилитации Угер был назначен на чрезвычайно ответственный пост в техническом управлении Военно-воздушных сил. В Советской Армии в таком внезапном переселении из тюрем и лагерей на самые высокие командные посты ничего необычного нет. Известно, что и маршал Рокоссовский, сыгравший решающую роль в разгроме немцев под Москвой зимой 1941 года, попал на свой пост прямо из лагеря. Побывали в заключении крупнейший советский авиаконструктор А. Н. Туполев и создатель первых советских ракетных кораблей Королев и многие другие. Строитель советских мощных радиостанций академик Минц арестовывался неоднократно и освобождался по окончании строительства очередной радиостанции, которым он руководил, находясь в заключении. Московские острословы говорили, что для того, чтобы узнать, сколько есть в Союзе мощных радиостанций, достаточно подсчитать, сколько раз арестовывался Минц.

Любопытную историю об этих метаморфозах рассказал нам как-то Угер. На одном из сверхсекретных совещаний у Министра обороны, где присутствовали человек 25 крупнейших военных, Угер от нечего делать стал подсчитывать, кто из

присутствующих побывал в свое время в лагерях или тюрьмах. Таких оказалось около трех четвертей всех участников этого ответственного совещания.

* * *

Ревекка Левина была членом-корреспондентом Академии наук СССР и заместителем директора Института мировой политики и экономики этой Академии. Всякий, кто хоть немного знаком с нравами Академии, понимает, что для того, чтобы женщина, да к тому же еще еврейка, могла достичь такого положения, она должна была быть действительно крупным специалистом в области мировой экономики.

Ни с Аллилуевыми ни с Михоэлсом Левина знакома не была. Не была она знакома и с нами. Но в числе близких ее сотрудников в Институте был профессор-экономист Исаак Гольдштейн, добрый знакомый Евгении Аллилуевой еще с 20-х годов, когда они работали вместе в советском посольстве в Берлине. Понятно, конечно, что арестовали и самого Гольдштейна и его жену. Он умер в тюрьме, а жена его вернулась в 1954 году после реабилитации в Москву, где тоже вскоре умерла. Этой косвенной связи с Аллилуевой через Гольдштейна оказалось достаточным, чтобы арестовать и Левину.

Я думаю, впрочем, что это было только формальным поводом для ареста Левиной. Более глубокая причина кроется, как мне кажется, в зависти к ее одаренности. "Недочеловекам" из

МГБ с их примитивнейшим интеллектуальным уровнем трудно было примириться с мыслью о том, что какая-то еврейка оказалась столь талантливой и сделала столь блестящую научную карьеру. Я думаю, что по таким же психологическим причинам была арестована в это же время, хотя и вне связи с нашим делом, и другая весьма талантливая женщина-еврейка Лина Штерн, действительный член Академии Наук и руководитель крупной физиологической лаборатории. Недаром в это время в Москве упорно циркулировал слух о том, что на вопрос, почему в Англии нет антисемитизма, Черчилль якобы ответил: "Потому что мы, англичане, не считаем себя хуже евреев". Не берусь судить, насколько правдив этот рассказ, но, думаю, что в нем глубоко вскрываются корни антисемитизма партийной верхушки, уходящие в глубь комплекса неполноценности и порождаемой им зависти.

Незадолго до своего ареста Ревекка Левина попала в автомобильную катастрофу, получила тяжелую травму головы и находилась в больнице. Так как домашние условия у нее были очень хорошие, то врачи выписали ее из больницы и позволили ей отправиться домой, не дожидаясь полного выздоровления. Теперь мне представляется несомненным, что это было сделано по прямому приказу МГБ. Во всяком случае она была арестована в тот же день, когда вернулась домой из больницы. Ее арестовали еще совершенно больную, с забинтованной головой, и в таком виде привезли на "следствие", если можно так назвать то, что делалось в штаб-квартире МГБ на Лубянке и в Лефортовской тюрьме.

Во все время следствия с избиениями, пытками и карцерами Левина была в полубессознательном состоянии. Причины своего ареста и того, что от нее требуют, она понять не могла, тем более, что, как я уже говорила, она не была знакома ни с Аллилуевыми ни с Михозлсом. Тем не менее и она оказалась участницей того же еврейского шпионского центра и была приговорена к длительному сроку заключения, которое отбывала в той же Владимирской тюрьме.

Когда в 1953 году нас, осужденных по этому делу, начали соединять попарно, то Левина оказалась на некоторое время сокамерницей Эсфири Хрулевой, о которой я расскажу ниже. Позже Хрулеву перевели в мою камеру, и от нее я узнала, что за время пребывания Левиной в одиночном заключении рассудок ее сильно пошатнулся. У нее начались слуховые галлюцинации. Она говорила, что уши ее включены в какую-то "радиосеть" и что она слышит путающие ее голоса. Иногда страхи ее доходили до того, что она начинала стучать в дверь камеры и кричать: "Выключите мои уши! Я не могу больше!" Тогда открывалась форточка, и дежурный надзиратель говорил, что он уже выключил ее уши из радиосети.

Поняв, что Левина тяжело больна психически, Хрулева подала начальнику тюрьмы заявление о том, что Левина нуждается в специальном лечении, а поведение персонала поддерживает ее бред. Происходило это после смерти Сталина, и тогда подавать такие заявления было уже безопасно. В прежнее время, несомненно, Хрулева получила бы пару недель карцера, а Левину ле-

чить не стали бы. Теперь же начальник тюрьмы испугался и не нашел ничего лучшего, как отправить Левину в ту самую страшную женскую психиатрическую тюрьму в Казани, куда позже начали помещать политических диссидентов. О том, что делалось в этих тюрьмах-больницах написано уже много.

Перед отправлением в Казань Левина была еще в таком состоянии, что в периоды ремиссии могла читать Хрулевой очень интересные лекции по вопросам мировой экономики. Может быть, при надлежащем лечении еще можно было бы спасти эту талантливую женщину. Но в результате казанского "лечения" рассудок Левиной пошатнулся окончательно, и в Москву ее привезли после освобождения и реабилитации в состоянии совершенно безнадежном. Семья и Академия Наук сделали все возможное, чтобы поправить ее здоровье, но было уже слишком поздно.

Нашу семью и Левину курировал один и тот же врач из диспансерного отдела поликлиники Академии Наук. От нее я знаю, что в последние годы своей жизни Левина уже была полностью отключена от реальности и не узнавала даже самых близких людей. Она вскоре умерла, так и не поняв, почему и за что погубили ее Сталин и Берия.

* * *

Эсфирь Хрулева (урожденная Горелик) была женой генерала армии Андрея Хрулева. Роман их начался еще в годы гражданской войны, когда

Хрулев был комиссаром дивизии, а молодая Эсфирь работала у него политруком. Роман этот завершился браком в 1922 г. Эсфирь прожила с мужем 26 лет, родила ему четырех детей, вырастила и воспитала троих из них (четвертый умер младенцем) и, кроме того, воспитала в своем доме еще двух своих племянниц. Одним словом, как говорил мне с гневом следователь Комаров, она "обложила евреями русского генерала Хрулева".

Генерал армии Хрулев был одним из виднейших советских военачальников. В годы второй мировой войны он был заместителем Министра Обороны (Сталина) и начальником тыла Советской Армии. На нем лежала ответственность за военную промышленность, снабжение, транспорт и медицинскую службу армии. Он оставался на своих высоких постах и после ареста его жены, так что сидя в одиночной камере Владимирской тюрьмы, Эсфирь имела возможность два раза в год — 1-го мая и 7-го ноября — видеть в газете фотографию своего мужа рядом со Сталиным на трибуне мавзолея Ленина.

В годы разгрома всего высшего военного командования и всей старой партийной гвардии Хрулев уцелел совершенно случайно. Эсфирь рассказывала мне, как они с мужем не спали в ту пору по ночам, со страхом прислушиваясь к шуму каждой подъезжавшей к их дому машины. Уже через много лет, когда Хрулев стал заместителем Сталина и начальником тыла Советской Армии, Сталин как-то сказал одному

его другу: "Видишь, как хорошо, что мы все же не арестовали в свое время Хрулева. Теперь он прекрасно работает".

С Евгенией Аллилуевой Хрулева познакомилась во время войны, когда обе они были эвакуированы в Свердловск и жили в одном доме. Знакомство продолжалось и после войны в Москве, но особой близости между Хрулевой и Аллилуевой не было. Просто встречались время от времени. Думаю, однако, что Хрулеву погубило не столько это криминальное знакомство, сколько тот факт, что столь высокопоставленный генерал, чисто русский человек, оказался женатым на еврейке. Примириться с этим "голубые погоны" из МГБ и верхушка аппарата партии не могли, и как только представился случай эту женщину убрать, они, конечно, не преминули сделать это.

Хрулева рассказывала мне, что на протяжении многих лет ее мужу все время подсовывали молодых и хорошеньких русских сотрудниц в надежде соблазнить его и побудить разойтись со своей женой-еврейкой. Непрерывно делались такие попытки и после ареста Эсфири. Однако Хрулев был порядочным человеком и верным мужем. Он стойко ждал свою жену и дождался ее.

Так или иначе, но после 26 лет замужества Эсфирь Хрулева снова превратилась в Эсфирь Горелик и под этим именем была отправлена на длительный срок во Владимирскую тюрьму, где она, как и все осужденные по этому делу, находилась долгие годы в одиночной камере без права переписки и получения помощи, не зная

ничего о своих детях и муже. За все эти годы Хрулев, несмотря на свое высокое положение не мог ничем помочь ей. Ему было запрещено не только хлопотать за нее, посылать ей деньги или посылки, но даже наводить справки о том, где она и вообще жива ли она. При коммунизме органы секретной полиции всесильны.

Обстоятельства ареста Хрулевой не вполне обычны и не лишены интереса для характеристики советских нравов. Хрулевы занимали огромную десятикомнатную квартиру на улице Грановского в одном из самых привилегированных Домов Советов. Арестовать ее дома и произвести в квартире обычный в таких случаях обыск было, очевидно, неудобно, поскольку решено было самого Хрулева не трогать. Поэтому устроились иначе.

В начале января 1948 года Хрулева собралась с утра за покупками в находящийся рядом (на проспекте Калинина) большой магазин Вoenторга. Так как идти было недалеко, а зима выдалась необычно теплая, то вышла она на улицу налегке, накинув только демисезонное пальто поверх домашнего шелкового платья. Пошла в открытых туфлях и тонких чулках. Когда она вышла из магазина, нагруженная покупками, к ней подошел выложенный и необычайно учтивый полковник. Вежливо козырнув, он попросил ее съездить с ним на несколько минут к Министру Госбезопасности Абакумову, который, дескать, хочет с ней о чем-то поговорить. Хрулева была хорошо знакома с Абакумовым и лишь несколько дней тому

назад встречала Новый Год в одной с ним компании. Ехать она отказалась и попросила полковника передать Абакумову, что приехать сейчас она не может, потому что должна передать домашней работнице продукты, "а иначе обед не успеет к возвращению Андрея Васильевича с работы и детей из школы".

Полковник, однако, очень вежливо, но настойчиво просил ее не ставить его в трудное положение перед Министром. Он уверял, что весь визит займет несколько минут, после чего он сейчас же отвезет ее домой. Кончилось дело тем, что Хрулева села с полковником в поджидавшую его роскошную машину. Ее отвезли на Лубянку и проводили в кабинет к Абакумову, с которым она начала разговаривать как с добрым знакомым. Но через несколько минут Абакумов вдруг стукнул кулаком по столу и сказал: "Вот что, нам надоела ваша шпионская деятельность... Убрать ее!". Вошла охрана, и Хрулева оказалась погребенной на долгие годы в застенках и тюрьмах. Даже теплых вещей из дома получить она не могла. Так и отправилась в тюрьму в шелковом платье, демисезонном пальто и открытых туфлях.

Хрулева была, конечно, членом партии. Она принадлежала к тем стопроцентно ортодоксальным советским "знатым женам", которые ничего в советской действительности не поняли, всю советскую систему, давшую им столько благ, приняли без малейшей критики, а Сталина боготворили. Ей удалось каким-то образом получить диплом философского факультета

Университета. Она даже преподавала какие-то так называемые "марксистско-ленинские" науки в одном из военно-учебных заведений, хотя уровень ее образованности и интеллигентности был весьма низок. Даже мне, которая совсем не специалист в этих вопросах, приходилось разъяснять ей самые элементарные вещи из области истории и социологии.

Арест, следствие и тюрьма ничему Хрулеву не научили, и так она ничего в советской системе и сталинщине и не поняла. О смерти Сталина мы узнали только в мае 1953 г., когда находились в одной камере. Меня это известие очень обрадовало и возбудило во мне некоторые надежды на освобождение. Хрулева же оплакивала смерть Сталина горячими слезами и уверяла меня в том, что обе мы во многом виноваты перед Родиной. Главная наша вина, по ее мнению, была в том, что мы поддерживали знакомство с Евгенией Аллилуевой и даже "осмелились" встречаться с дочерью Сталина Светланой. Все мои попытки убедить ее в том, что в этом нет ничего криминального, оставались безуспешными. Она много раз писала заявления в МГБ с просьбой отправить ее в лагерь и дать ей возможность "самоотверженным трудом искупить свою вину перед Родиной".

Совершенно анекдотична была и история освобождения Хрулевой. После смерти Сталина и ареста Берии Хрулев пустил в ход все свои связи, и ему удалось добиться того, что его жена была освобождена первой из числа арестованных по нашему делу. Ее решено было

освободить, даже не дожидаясь окончания процедуры реабилитации. Но все же освобождение человека из тюрьмы нужно как-то оформить. Хрулеву привезли из Владимира на Лубянку и любезный следователь "из новых" разъяснил ей, что она ни в чем не виновата. Она должна только написать об этом и заявить, что ее прежние признания были вынужденными. Эсфирь, однако, упорно отказывалась сделать это, настойчиво уверяла следователя, что она виновата, и просила послать ее в лагерь. Потеха, да и только. В конце концов новому руководству Комитета Государственной Безопасности (так было переименовано прежнее Министерство) все это надоело. Следователь в последний раз вызвал Хрулеву и сказал ей: "Вы считаете себя виновной, а мы считаем, что никакой вины за вами нет. Идите в соседнюю комнату. Там ждет вас муж". И она поехала домой. Совсем как в сказке.

* * *

Татьяна и Александр Фрадкины были старыми знакомыми Евгении и Павла Аллилуевых. Знакомство это началось еще с той поры, когда все они работали в советском представительстве в Берлине. Александр Фрадкин, который в гражданскую войну был одним из первых и лучших летчиков, позже стал специалистом по авиационной промышленности. Он работал в советских представительствах за границей — сначала в Берлине, а с середины 30-х годов — в США.

Брат его Борис, носивший партийную фамилию Волин, был сначала начальником Главлита (Управление цензуры), а затем заместителем министра просвещения. Я рассказывала уже о том, как он совершенно случайно уцелел в годы Большого Террора: его сочли уже расстрелянным и пропустили по ошибке в списках.

Старшая сестра Фрадкина Раиса — жена довольно известного советского карикатуриста Бориса Ефимова, который давно уже запродавал свое не лишенное таланта перо делу советской клеветы и пропаганды. Он продолжал отрабатывать свои тридцать серебрянников и после того, как был казнен его родной брат, журналист Михаил Кольцов, один из политических руководителей советских войск в Испании во время гражданской войны. В последние годы Борис Ефимов, чистокровный еврей, не остановился даже перед публикацией гнуснейших карикатур на евреев и Израиль, карикатур, которые охотно перепечатала бы любая нацистская газета. Впрочем, от Бориса Ефимова ничего другого и ожидать нельзя было.

Младшая сестра Фрадкина Соня была женой Леонида Чертока, заместителя начальника ОГПУ Ягоды. После того, как Ягоду арестовали, Черток не сомневался в том, что и его ждет арест. Хорошо знал он и то, что за этим последует. Ждал он ареста ночью, сидя в кабинете своей квартиры на 8-м этаже жилого дома ОГПУ. Дверь из его кабинета на балкон была открыта, а на столе перед ним лежал револьвер. Когда раздался звонок, дверь "дорогим гостям"

открыла Соня. Черток стоял у своего стола лицом к вошедшим и спиной к балкону. Он поднял револьвер, направил его на вошедших и сказал: "Ни с места! Буду стрелять!". Пришедшие знали его характер и не торопились принести свои драгоценные жизни на алтарь отечества. Не спуская глаз и револьвера с гостей, Черток, пятясь, вышел на балкон и выбросился с 8-го этажа. Это, по крайней мере, избавило его от пыток и издевательств.

По советским правилам, Соня, конечно, должна была бы быть арестована как жена "врага народа". Она избежала этого только потому, что на следующее утро после самоубийства мужа она бросила все и укрылась со своим новорожденным ребенком где-то в глухой провинции у своих родственников. Среди миллионов арестованных о ней просто забыли.

В 1937 или 1938 году Александр Фрадкин неожиданно получил предписание оставить Америку и вернуться с семьей в Москву. Как преданный коммунист, он беспрекословно исполнил это предписание, хотя и знал, что в Москве идут массовые аресты. Как и большинство советских людей, он в то время еще не понял до конца смысла этой волны массовых расправ. Он считал себя (и был) ни в чем невиновным и потому вернулся в Москву, хотя мог бы спокойно остаться в США. Его арестовали в день приезда, и он погиб где-то в чекистских застенках.

Через короткое время арестовали и его жену Татьяну. Она провела 8 лет в советских страшных лагерях как жена "врага народа", а после

освобождения была лишена права жить в Москве. К счастью ее, она вскоре вышла замуж за москвича, у которого была "жилая площадь". (Так было принято говорить в Москве, и это, пожалуй, правильно. Назвать квартирой то жилье, в котором в ту пору ютилось большинство московского населения, было бы чрезмерным эвфемизмом). Но недолго длилась передышка, которую судьба послала Татьяне. В декабре 1947-го года она была вторично арестована — на этот раз как знакомая Евгении Аллилуевой и, стало быть, участник того же "американо-сионистского шпионского центра". Как и все мы, она оказалась в одиночной камере центральной политической тюрьмы во Владимире. Но этого несчастная женщина уже выдержать не могла и вскоре скончалась на тюремной койке.

Так трагически сложилась судьба всех членов этой семьи. Уцелели только двое: Борис Волин по совершенной случайности и Борис Ефимов — ценой предательства брата, друзей, родных, своего народа.

* * *

По нашему делу было арестовано, насколько мне известно, немало и других людей. Но с ними я знакома совсем не была и ничего о них не знаю, хотя мы и принадлежали по словам следователя к одной контрреволюционной организации.

На первый взгляд кажется, что аресты производились без всякой системы, по случайному стечению обстоятельств. Если бы генерал Угер

получил ордер на комнаты не в квартире Аллилуевой, а в каком-нибудь другом месте, то, по всей вероятности, был бы арестован не он, а кто-нибудь другой. Если бы Эсфирь Хрулева не познакомилась случайно в эвакуации с Аллилуевой, то она возможно прожила бы спокойно всю свою жизнь. Это все так. И все же в этой кажущейся бессистемности была своя продуманная система. Нужно было арестовать группу евреев-интеллектуалов достаточно представительную, чтобы из их осуждения можно было сделать выводы, разжигающие враждебность населения к евреям в целом.

Примитивная антилогика недочеловеков из МГБ такова. Смотрите, генерал Угер — предатель. Значит, все евреи, занимающие высокие посты в армии, таковы. Они и пролезают на эти посты, чтобы предавать Родину. Жена генерала армии Хрулева оказалась шпионкой. Вот что получается, когда наши русские генералы женятся на еврейках. Профессор Тумерман — шпион и вредитель. Вот они каковы эти хваленые еврейские ученые, не место им в нашей науке. И так далее. Нужно, впрочем, сказать, что такая примитивная антилогика вообще доходчива до умов простых людей, а унифицированная советская пропаганда позволяет легко вбить эту чушь в головы миллионов советских граждан. Поверили же они в 1953 г. в то, что врачи-евреи специально умерщвляли своих высокопоставленных пациентов.

Действие первое: арест

Суббота, 27 декабря 1947 г., началась для нас как день обычный и спокойный. Ничего преступного против СССР мы никогда не делали и не замыслили. Наоборот, мы работали на советское государство с полной добросовестностью и отдачей всех сил, а поэтому нам и в голову не приходила мысль о том, что в эту ночь мы будем арестованы и пройдем через все круги советского ада. Это — тоже черта, очень характерная для почти шизофренической раздвоенности психологии "нормального" советского гражданина. Каждый знает, что в СССР миллионы совершенно невинных людей были замучены или убиты органами госбезопасности. Каждый знает, что он совершенно беззащитен и может подвергнуться той же участи в любой день без всякой своей вины. И все же до последнего момента никто не верит в возможность своего ареста. Неистребимо сильно сложившееся веками убеждение: "Ведь я то ни в чем не виноват. Как же могут арестовать *меня?*"

Сигналы, предвестники надвигавшейся на нас катастрофы были, но мы их не видели и не понимали. Евгения Аллилуева, мой близкий друг на протяжении многих лет, была арестована 10 декабря. Меня это потрясло, но мне и в голову не приходила мысль о том, что такая же судьба ждет через две недели и нас с мужем.

Мы знали, конечно, что Сталин сделал своего сына Василия — пьяницу, подонка, дегенерата — генералом авиации. Мы знали, что Василий, затаивший злобу против своих теток, непрерывно

клеветает на них и настраивает против них отца. Однако это не мешало мне поддерживать старую дружбу до самого дня ареста Евгении. Мы часто и подолгу разговаривали с ней по телефону, хотя и знали, что за нашей дружбой много лет следят и что все наши телефонные разговоры подслушиваются. Техника подслушивания телефонных разговоров была в ту пору в СССР совершенно примитивна. Просто какой-то агент включался в вашу цепь, и вы могли совершенно явственно слышать его дыхание. Иногда мы говорили ему: "Пожалуйста, не сопите так громко. Вытрите нос и старайтесь дышать как можно тише". Чтобы так шутить с агентом, который подслушивает ваши разговоры, нужно иметь полную уверенность в своей невинности и невозможности "своего" ареста.

Раньше других понял ход событий умнейший человек Соломон Михозлс. Но и он прозрел слишком поздно. Утром 27-го декабря, в день нашего ареста, я случайно встретила его на Тверском бульваре, недалеко от дома, где он жил. Он был очень взволнован и обеспокоен тем, что в газетном изложении его выступления на каком-то большом общественном собрании были опущены все те места, где он говорил о предстоящем образовании государства Израиль и приветствовал это решение. Тому, кто знаком с нравами полностью регулируемой и контролируемой советской печати, такое умолчание говорит об очень многом. И Михозлс понял это. Он сказал мне: "Это — начало конца!". Он тогда уже, очевидно, прозрел и понял все

лицемерие, все коварство политики Советского Союза в отношении будущего государства Израиль и советских евреев. А наши левые социалисты в тогдашней Палестине и в возрожденном Израиле все еще развешивали в своих киббуцах (сельскохозяйственных коммунах) портреты Ленина и Сталина, которых они боготворили тогда и веру в которых они не утратили по сей день.

Каюсь, тогда я не очень серьезно отнеслась к словам Михозлса и, простившись с ним, пошла по своим хозяйственным делам. День был субботний, и нужно было купить мясо для воскресных пирожков, которые нам так и не суждено было отведать. Слова Михозлса я продумала и поняла позже, уже сидя в боксе так называемой "внутренней" тюрьмы в здании МГБ на печально известной Лубянской площади, по заслугам переименованной в площадь Дзержинского.

Субботний день прошел как обычно, тихо и спокойно. Вечером, уложив ребенка спать, я почитала немного в постели и рано заснула, а муж продолжал работать в своей комнате. Ему необходимо было к началу следующей недели проверить и исправить дипломные работы своих студентов в Высшем Техническом Училище им. Баумана, где он был профессором. Разбудил меня дверной звонок около 11 часов ночи. Я услышала, как муж открыл входную дверь, и как в квартиру вошли, стуча сапогами, несколько человек. Но это не взволновало меня. Я подумала, что, вероятно, в одной из квартир в нашем подъезде случилась какая-нибудь авария, и

дежурный комендант с помощниками проверяет, все ли в порядке в других квартирах. Такой случай, как я описывала, был у нас и раньше, а мысли о возможности нашего ареста даже и тогда еще не приходили мне в голову.

В это время муж отворил дверь моей комнаты и сказал: "Лида, встань. За мной пришли." Еще ничего не понимая, я накинула на себя халат и вышла в прихожую, где я увидела несколько человек, военных с голубыми погонами (отличительный признак МГБ). Командовавший ими полковник коротко приказал: "Приготовьте мужу вещи!" . Я быстро уложила смену белья и летнее одеяло (это было все, что разрешили), отдала ему все небольшие деньги, какие были дома, и простилась с ним, чтобы снова увидеть его через семь лет. Я была относительно спокойна, как и мой муж. Мы все еще не понимали до конца, что такое советское правосудие, и были уверены, как и все, кого уводят, что все это — недоразумение, которое разъяснится через несколько дней.

Оставшиеся в квартире военные начали тщательный обыск, а через час этот же полковник вернулся и предъявил мне ордер на мой арест. Я тоже спокойно уложила узелок с вещами, поцеловала спящего ребенка, простилась с матерью и сказала ей: "Не волнуйся. Это недоразумение. Мы вернемся домой через несколько дней". Это было сказано не только для того, чтобы успокоить мать. Я и сама верила в это. Больше я матери своей никогда не видела. Она

умерла за несколько месяцев до моего освобождения. Единственное, что утешает меня, это то, что перед своей смертью она уже знала, что я скоро буду освобождена.

Мы вышли из дома вдвоем с полковником, который вежливо усадил меня в хорошую легковую машину, ожидавшую нас у подъезда. Это обычно. Как правило, арестованных увозят из дома не в тюремных машинах — "черных воронках", а в обычных легковых машинах, и всю процедуру ареста стараются провести очень вежливо и спокойно. В этом есть свой дьявольский расчет. Во-первых, не привлекать ничего внимания и не поднимать шума. Но это не все. Ведь арестованный — не политический деятель, который знает, на что он идет, и ежечасно готовится к аресту. Он — обыкновенный человек, обыватель, чаще всего интеллигент, со всеми присущими интеллигенту достоинствами и недостатками. Он сидит в хорошей машине и едет по самым красивым местам любимой Москвы. С ним разговаривают вежливо, без окриков и брани. Он все еще не понимает, что с ним произошло. Он беззащитен и не может собраться с мыслями. Нужно поддержать его в этом состоянии до того момента резкого, внезапного перелома, который должен сокрушить его психику и сломить его способность сопротивляться.

Так было и со мной. Мы проехали мимо Кремля, Александровского сада, Большого Театра и подъехали к зданию МГБ на Лубянской площади. Ничто не напоминает здесь тюрьму и

застенки. Машина подъехала к обычной, широкой, со вкусом отделанной двери. Передо мной вежливо отворили эту дверь, мимо которой я столько раз проходила, не задумываясь о том, что таится за ней. Дверь закрывается, и это все. Конец. Нет больше сына и матери, нет мужа, нет друзей и родных. Даже полковник, привезший меня, куда-то незаметно исчезает. Вокруг вырастает охрана и раздается грубая команда: "Руки назад! Идите!". Психологический шок достигнут. Жизнь кончилась.

Меня втиснули в наглухо закрытый ящик, который оказался половиной лифта. В другой половине — открытой — находилась охрана. Сколько этажей мы проехали — не знаю. Меня вывели из лифта и повели в комнату обыска. Не стану описывать во всех деталях эту омерзительную процедуру. Скажу лишь, что обыскивавшая меня женщина в мундире с голубыми погонами тщательно осмотрела не только полость моего рта, но и половые органы и анус. Я думаю, что в этом было не столько опасение, как бы я чего запретного не утаила, сколько то же сознательное стремление унижить человека, подавить, сломить психику заключенного. Хотелось бы мне знать, своим ли умом дошли молодцы из МГБ до всех этих психологических тонкостей или им пришлось воспользоваться квалифицированной консультацией ученых-психологов. Не сомневаюсь только в том, что если бы им такая консультация понадобилась, то они легко нашли бы консультантов в растленной среде советских специалистов.

Это же стремление унижить вас, сломить ваше чувство собственного достоинства, проявляется в том, в каком виде вас выпускают после обыска в советских органах госбезопасности. С моего платья срезали длинную застежку-молнию, которая держала его. Из полуботинок, которые были на мне при аресте, вынули шнурки. Даже из трико вынули резинку, а из моих пышных "еврейских" волос вынули все шпильки. В таком виде меня повели дальше. Поддерживая обеими руками одновременно и спадающее с меня трико и распахивающееся платье и узелок с вещами, я должна была быстро идти за конвойными в падающих с ног чулках и полуботинках.

В таком виде меня, растерянную, теряющую, извините, трико, чулки, обувь, вещи, втолкнули в "бокс". Это — нечто вроде стенного шкафа — крохотное наглухо закрытое помещение без окон. Тот бокс, в который меня поместили, был еще относительно хорошим. Он имел в длину около двух метров, и вдоль одной из стен в нем имелась узенькая, вделанная в стену полочка для лежания. Вытянуться на ней нельзя было даже мне, женщине среднего роста. Нельзя было на ней и повернуться, хотя я никогда не весила больше 57 кг. Никаких постельных принадлежностей — подушки или одеяла — в боксе не было. О других, гораздо худших, боксах на Лубянке и в Лефортовской тюрьме я расскажу дальше. На полочке в этом боксе я просидела мою первую тюремную ночь.

Во всем том, что я рассказала, не было ничего необычного или исключительного. Это была

норма практики советского государства. Просто еще два имени оказались включенными в мартиролог бесчисленных жертв той колесницы Джаггернauta, которая в наш просвещенный век называется "строительством коммунизма". Советские люди к этому привыкли, и реакция советского общества (в том числе, увы! и наша до ареста) не очень отличается от реакции стада коров, когда некоторых из них уводят на убой. Но коровам это простительно, они не знают о бойне. А мы, советские люди, ведь знали все, но не хотели знать, закрывали глаза и увиливали от ответственности. Родные поплачут, друзья-товарищи горько вздохнут (конечно, только наедине с собой) и пойдут дальше верно служить "Советской Родине", как служили ей и мы до нашего ареста.

А уж как дойдет до собрания, на котором будет предписано устно и письменно заклеить презрением очередного "врага народа", то все, конечно, проголосуют, как нужно, и подпишут, что потребуется. Ибо, ведь,... "плетью обуха не перешибешь" и "к чему бессмысленный героизм?". А для успокоения остатков собственной совести остается еще жалкая идейка о том, что все это делается, якобы, во имя великой цели — ради построения коммунизма, обеспечивающего вечное счастье всем людям на земле. Если же в данном частном случае невинно погиб мой добрый товарищ, человек, которого я хорошо знаю, с которым "пуд соли съел",... что же делаешь? В таком большом деле некоторые ошибки, увы! неизбежны. Словом, знаменитое "лес

рубят — щепки летят” — извинение, которое создавало видимость оправдания красного террора в глазах многих советских обывателей.

Интеллигенты же — ученые, писатели, деятели искусства — при этом лицемерно оправдывали себя еще и тем, что они, дескать, призваны ”развивать науку” или ”творить вечные ценности”, а это можно и нужно делать при любом строе, не взирая на те или иные, иногда, быть может, и неприятные, но исторически неизбежные особенности коммунистического строя. Благо, к тому же большевики не плохо оплачивают работу ”жрецов искусства” и ”творцов науки”. Говоря эти горькие слова, я не снимаю вины с себя и с моего мужа. Мы были не лучше других и всю мерзость этого строя осознали только тогда, когда дубина ударила по нам самим.

* * *

Сталину, очевидно, очень не терпелось начать как можно скорее задуманное им дело. Этим объясняется то, что наше первое знакомство со следователем произошло на следующий день после нашего ареста, хотя это и было воскресенье, день нерабочий. Следствие по нашему делу вел полковник Владимир Комаров, который в то время занимал должность заместителя начальника следственной части по особо важным делам. Очевидно, наше дело относилось к этому разряду, ибо полковник Комаров вел следствие по делам всех арестованных по этому делу, кого я знаю. Иногда ему помогал второй

помощник начальника следственной части полковник Лихачев. О Комарове, одном из самых отъявленных бериевско-сталинских бандитов, я расскажу подробнее ниже, ибо это — фигура весьма показательная для облика работников советских органов госбезопасности.

На допрос меня повезли опять в закрытом ящике-лифте, так что я не могла даже сообразить, куда меня везут — вверх или вниз. Комаров начал с комплимента. "Вы,— сказал он,— очень молодо выглядите для своих лет". И, помолчав, добавил: "Но у нас вы скоро будете выглядеть иначе". Дальнейший разговор был краток и энергичен.

— Вы обвиняетесь в принадлежности к подпольной сионистско-американской шпионской организации. Советую сразу признаться во всем.

— Мне не в чем признаваться.

— Мы применим к вам все средства, начиная с резиновых дубинок, и добьемся от вас всего, чего нам нужно.

— Неужели в советских органах применяют фашистские резиновые дубинки?

— Когда нам нужно, мы все применяем. Я пошлю вас в самую тяжелую следственную тюрьму, и там вы подпишете все, что нам нужно.

На этом наше первое знакомство кончилось. Той же ночью меня перевезли в страшную следственную тюрьму КГБ, находящуюся в Лефортовском районе Москвы. Везли уже, конечно, не в комфортабельной легковой машине, а в одиночном боксе многократно описанного "черного ворона".

Чтобы не возвращаться более к Лубянке, я расскажу сейчас об еще одной моей встрече с ней. Числа 9-го или 10-го января (в следственной тюрьме арестант не имеет ни газет ни календаря и быстро сбивается в счете дней) меня перевезли ночью и без вещей, а это значит на короткое время, на Лубянку. Очевидно, меня должно было допрашивать самое высокое начальство — министр Абакумов или даже "сам" Берия, потому что Комаров приезжал для допросов в Лефортово.

По приезде на Лубянку, меня поместили в "сидячий бокс", куда специально подавался очень горячий воздух. Это был совсем небольшой ящик, в котором имелась лишь вделанная в стену очень маленькая и узкая полочка для сидения. Жара и духота там были невыносимые. По-видимому, меня посадили туда специально для того, чтобы подготовить к допросу высоким начальством и привести в соответствующее состояние.

Посидев в этом боксе несколько часов, я потеряла сознание и свалилась с сидения на пол. В себя я пришла, потому что кто-то лил мне на лицо холодную воду. Я села на пол, прислонившись к стене: лечь в этом маленьком ящике нельзя было.

Позже меня перевели в другой такой же точно бокс, но только с очень холодным воздухом. Там я совсем окоченела и, по-видимому, снова потеряла сознание. Думаю, что было уже утро, когда меня перевезли в "лежачий бокс" — такой,

в каком я провела свою первую ночь на Лубянке. Там я и просидела следующие 11 суток. Ни на допрос, ни на прогулку меня не выводили, а когда при обходе дежурного офицера я спрашивала его, почему меня держат в боксе так долго и не вызывают на допрос, он отвечал неизменно: "Когда нужно будет, вызовут".

Так прошли 11 суток, а затем меня снова увезли ночью в Лефортовскую тюрьму. Сейчас, когда я сопоставляю весь ход следствия, у меня нет никаких сомнений в том, что именно в эти дни решался вопрос о судьбе Михозлса. В эти дни по прямому и личному приказу Сталина Михозлс был убит, и направление всего нашего дела резко изменилось. Показания против Михозлса, которые из меня должны были быть вырваны на Лубянке, стали уже не нужны, и в сценарий процесса были внесены изменения.

Действие второе: преступление и наказание

Лефортовская тюрьма. Итак, в ночь с 28-го на 29-е декабря 1947 г. меня, как и угрожал Комаров, перевезли в Лефортовскую следственную тюрьму МГБ. В эту же ночь туда перевезли моего мужа. Как я узнала после нашего освобождения, там же находились во время следствия все остальные арестованные по нашему делу.

Лубянская "внутренняя" тюрьма, находящаяся в центре Москвы, в здании Министерства (теперь Комитета) Государственной Безопасности, считается относительно хорошей. Там и

камеры несколько лучше, светлее, большей частью с деревянными, а не с каменными полами. И кормят там чуть-чуть получше, чем в других тюрьмах. И разговаривают — или, по крайней мере, разговаривали с нами — несколько по-вежливее. Конечно, и там есть подвалы, где расстреливают, и там есть горячие и холодные боксы и карцеры, о которых я писала, и там применяют все противозаконные методы запугивания, шантажа, обмана, морального давления, но об избиениях и пытках на Лубянке я не слышала. Для этого существует Лефортовская тюрьма на окраине Москвы и ряд других таких же тюрем "по лицу земли родной".

Дело, по которому мы были арестованы, было задумано как важное политическое мероприятие. Разрешение на применение к нам всех методов, необходимых для получения нужных следствию показаний, было дано на высшем уровне, вероятно самим Сталиным. Ясно было, что нам не миновать Лефортова. Здесь все рассчитано и приспособлено для таких дел. Здесь имеются карцеры с обледенелыми стенками, куда помещают подследственных, раздетых почти до гола. Здесь заключенных избивают резиновыми дубинками, привезенными, вероятно, из гитлеровских запасов, а, может быть, и изготовленными по специальному заказу отечественной промышленностью. Здесь применяют самые страшные пытки и издевательства.

У меня нет душевных сил описывать это подробно — это слишком страшно. Скажу лишь, что самое страшное — это даже не то, что делают

с вами, а те стоны и крики, которые вы слышите по ночам, когда во всех кабинетах "работают" так называемые следователи — нелюдь в голубых погонах. Это делается, конечно, сознательно и тоже входит в арсенал методов советского следствия. Меня, например, иногда специально сажали в карцер, и всю ночь я слышала нечеловеческие крики пытаемых и нещадно избиваемых людей.

Самые страшные мои воспоминания — это воспоминания о тех ночах, когда меня усаживали на табуретку в следственной камере рядом с кабинетом Комарова, откуда всю ночь доносились удары дубинки и крики, крики... Время от времени Комаров врывается в комнату с налитыми кровью глазами, срывал меня с табуретки, тряс и рычал: "Ты слышишь? Так мы и тебя отделаем!".

В одну из моих отсидок в карцере в соседний карцер принесли избитого и окровавленного генерал-лейтенанта Крюкова, мужа известной исполнительницы русских песен Руслановой, которая тоже была в это время арестована. Его положили, по-видимому, обнаженного на обледенелый каменный пол, и я слышала, как он в беспомощности кричал: "Я генерал Крюков! Где мои адъютанты?". А охрана посмеивалась и отвечала: "Вот, придешь в себя, тебе опять покажут, какой ты генерал". А потом я слышала, как уборщице было велено смыть кровь с пола, и она сделала это, как обычную, повседневную работу.

Никогда не забыть мне тех ночей, когда меня случайно брали на допрос позже обычного времени или приводили с допроса раньше времени, и когда я не могла заснуть, слыша стоны избитых людей, которых приносили на специальных толстых холстах в их камеры или в так называемую "санитарную часть" — тюремную больницу. Эта санитарная часть также заслуживает того, чтобы помянуть ее недобрым словом. Там есть врачи и медицинские сестры, все, конечно, в военной форме с голубыми погонами. Но трудно представить себе большее издевательство над самой идеей медицины, чем эта "санчасть" в тюрьмах МГБ. Трудно даже понять, как могли до такой степени утратить человеческий облик эти врачи и сестры — обыкновенные люди, да еще получившие к тому же медицинское образование. Я думаю, что по своему духовному и моральному уровню они были не лучше медицинского персонала в гитлеровских лагерях уничтожения.

На работу в МГБ шли только врачи бездарные и неполноценные, шли не из каких-нибудь идейных побуждений, а только потому что оплачивалась там их работа значительно выше, чем трудная и гуманная работа настоящих хороших советских врачей и сестер. А раз попав в систему МГБ, подышав ее зловонным и отравленным воздухом, человек уже полностью терял совесть и превращался в нечеловека.

Задача "санитарной части" заключается только в одном: не дать человеку умереть и тем уйти из лап следствия. Врач должен только как можно скорее привести пациента в такое

состояние, чтобы можно было продолжать допросы и пытку. Приведу лишь один случайно услышанный мной разговор врача с сестрой. На вопрос сестры о том, что с тяжелым больным, находившимся в соседней камере, врач ответил спокойно и равнодушно: "Наша обычная болезнь — после допроса.". Никакого возмущения, никакого протеста, хотя бы внутреннего, никакого сочувствия к жертве не было в его голосе. Все воспринималось им как нечто совершенно обычное и нормальное. Ведь за работу платили хорошо.

Лечить по-настоящему тюремный врач не должен, и ни кого ни от чего он и не лечит. Он лишь спешно залечивает раны, нанесенные следователем, и готовит пациента к продолжению пытки. К концу моего пребывания в Лефортове, уже после всех допросов, у меня почему-то распухло все лицо. Причины этого мне до сих пор неизвестны, но врач в тюрьме не обратил на это заболевание ни малейшего внимания. Этот случай его просто не интересовал, потому что он не был связан с его основной и единственной обязанностью — подготовить заключенного к продолжению допросов.

* * *

Лефортовская тюрьма — старое здание, полученное советской властью в наследство от царского режима. Разница лишь в том, что при царях там отбывали наказание действительно тяжелые преступники, чья вина была твердо

установлена открытым судом с участием присяжных заседателей и адвокатов защиты, тогда как при советской власти эту тюрьму превратили в следственную, где органы безопасности расправлялись с множеством ни в чем не повинных людей. В связи с этой новой задачей к старому тюремному зданию пристроили новый следственный корпус с кабинетами следователей и застенками.

Не говоря уже о физических пытках, весь режим в советской следственной тюрьме подчинен одной задаче — сломить психику заключенного, подавить его волю к защите и сопротивлению, заставить его подписать все, что ему подсунет следователь. Уже самой своей архитектурой Лефортовская тюрьма была приспособлена к этой задаче. Как и во многих старых тюрьмах, там имеется центральный зал без перекрытий, нечто вроде двора с крышей на уровне пятого этажа. От этого двора лучами расходятся несколько корпусов, коридоры которых тоже не имеют перекрытий. Камеры выходят на нависшие над этими проходами галереи, а для того, чтобы заключенный не вздумал покончить с собой, бросившись вниз, галереи эти на каждом этаже надежно ограждены прочной провололочной сеткой.

Камеры в Лефортове в большинстве своем очень маленькие и полутемные, потому что на окнах, кроме решеток, установлены так называемые "намордники" — щиты, не дающие заключенному возможности видеть даже небо. Кстати сказать, намордники — это уже оригинальное изобретение родной советской власти. При царях их не было.

Лефортовская тюрьма имела и еще одну особенность, немало способствовавшую достижению той же цели подавления личности заключенного. Не знаю, было ли это специально спланировано или вышло случайно, но только непосредственно рядом с этой тюрьмой находилось здание, в котором, как я узнала позже, производились испытания мощных ракетных двигателей. Почему-то (случайно ли?) испытания эти проводились почти всегда по ночам, когда в тюрьме шли допросы. Неописуемый, непереносимый свист, вой и грохот, возникавшие при этих испытаниях, создавали тот невыразимо жуткий фон, на котором обстановка ночных допросов, крики и стоны избиваемых и пытаемых сводили людей с ума и парализовали всякую волю и способность сопротивляться. Люди готовы были подписать все, что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.

Той же задаче подавления психики подследственного был подчинен весь тюремный режим и весь механизм следствия. Первым и, быть может, самым страшным орудием давления на психику заключенного является создание у него чувства полной оторванности от внешнего мира и чувства полной незащитности перед тем чудовищным аппаратом насилия и произвола, в лапы которого он попал.

Во всякой мало мальски цивилизованной современной стране арестованный знает, что он может с первого дня своего ареста пользоваться услугами адвоката, и что это создает существенные гарантии законности следствия. Он

знает, что не позже, чем через день он предстанет со своим адвокатом перед открытым судом, и что вопрос о дальнейшем его заключении будет решаться судьей. В США обвиняемый может даже отказаться давать какие-либо показания в отсутствие адвоката. Все это создает у арестованного уверенность в том, что он может защищаться и опровергать выдвинутые против него обвинения. Он не должен доказывать свою невиновность. Презумпция невиновности возлагает на обвинение тяжесть доказательства вины обвиняемого.

Ни о каких таких правовых гарантиях в советском следствии — и не только в сталинские времена, но и сейчас — нет и речи. Даже и теперь в делах, рассматриваемых обычными судами, адвокат может включиться в процесс лишь после того, как следствие закончено и обвинительный акт сформулирован. А уж в делах, которые ведет МГБ, даже на этом этапе к делу допускается лишь специально отобранная группа "своих", продавшихся, адвокатов. Подсудимый не может пригласить адвоката по своему выбору. Все широко рекламируемое после смерти Сталина "укрепление законности" есть фикция и ложь. Такова юстиция в СССР сегодня, а уж в сталинское время в делах, которые вело МГБ, не только об участии адвоката не могло быть и речи, но даже и прокуратура, которая формально должна была следить за законностью следствия, не имела доступа к тому, что творилось в застенках органов безопасности. С того момента, как за вами закрывалась дверь

тюрьмы, вы полностью отрезаны от внешнего мира. Никаких свиданий, никаких писем, никаких газет. Для нас — и никаких передач продуктов или вещей с воли. Вы сразу должны были почувствовать себя полностью во власти этой проклятой машины.

Это начало. За ним следует вся процедура допросов и прежде всего "пытка бессонницей". Допросы велись исключительно ночью и часто по многу суток, а то и недель подряд. Днем арестованный не имеет права и возможности не только заснуть, но и просто хоть на минуту закрыть глаза. Каждые две-три минуты открывается "глазок" в двери камеры, и дежурный надзиратель проверяет, не нарушили ли вы это изуверское правило. Над дверью камеры укреплена сильная электрическая лампа, и заключенный обязан сидеть так, чтобы она светила ему в лицо и чтобы надзиратель мог видеть его глаза. Достаточно вам хоть на минуту отвернуться или прикрыть глаза рукой, как вас грубо окликнут и пригрозят карцером.

В 10 часов вечера подается команда: "Отбой!". Можно, наконец, лечь и попытаться уснуть. Однако лежать вы обязаны по-прежнему так, чтобы яркая лампа светила вам в лицо, и чтобы надзиратель мог видеть ваше лицо, глаза и руки. Но и при всех этих адских условиях истомленный бессонницей заключенный засыпает, как убитый. Однако проходит короткое время — иногда несколько минут, в лучшем случае час или два — и его будят: "На допрос!". Я знала это и заранее одевалась и приводила себя в порядок прежде, чем лечь спать.

На допрос и с допроса вас всегда ведут два надзирателя: один идет впереди вас, другой — позади. Руки вы должны держать всегда за спиной. Главная задача надзирателя — не дать вам — упаси, Господи! —случайно встретиться в коридоре с другим заключенным. Поэтому идущий впереди надзиратель ("вертухай" на языке заключенных) все время щелкает языком или стучит ключом по металлической пряжке своего пояса. Этот клекот и звон будут стоять в моих ушах до конца дней моих. Если издали доносится такой же клекот или стук, вас немедленно заталкивают в один из шкафов, которые специально для этой цели устроены в коридорах на небольшом расстоянии один от другого.

В кабинете следователя заключенного усаживают на табурет без спинки в конце комнаты, вдали от следовательского стола, и направляют ему в лицо яркую лампу. В такой обстановке вас допрашивают часами, без конца повторяя одни и те же вопросы и угрозы. А иногда следователь уходит, оставляя вас наедине с надзирателем, который бдительно следит за тем, чтобы вы не вздумали хоть на минутку вздремнуть сидя. И это "хорошие" ночи, без избиений и издевательств.

Так или иначе, вас отпускают и проводят в камеру не раньше пяти часов утра, а иногда и около шести. Не успеваете вы свалиться на койку и забыться мертвым сном, как в шесть часов утра раздается команда: "Подъем!", и снова день мучительного желания спать и

невозможности закрыть глаза хоть на несколько минут. Когда такой режим продолжается подряд много дней, а иногда недель и месяцев, человек доходит до полного изнеможения.

Самый счастливый день в Лефортове — воскресенье. Следователи, ведь, тоже люди или, по крайней мере, считаются таковыми в СССР. А посему согласно конституции и они имеют "право на отдых", и как правило по воскресеньям в Лефортове не допрашивали, по крайней мере, не допрашивали нас — меня и моего мужа. Но нет правил без исключений, и иногда, когда Комаров этого хотел, меня вызывали на допрос и в воскресенье ночью. Допросы эти вел дежурный следователь, и они были совершенно бессмысленны. Их единственной целью было продолжение "пытки бессонницей". О многосуточных допросах сменяющимися следователями я слышала от многих, но нам с мужем этого пережить не пришлось, а я хочу писать лишь о том, что пережили мы сами.

Понятно, что никаких юридических или моральных запретов советский следователь не знает. Он не останавливается перед тем, чтобы сказать вам заведомую ложь о показаниях, якобы данных против вас другими людьми. Он может, не смущаясь, предъявить вам и фиктивные протоколы этих показаний. Он может угрожать репрессиями и арестом всех близких вам людей, включая детей и стариков-родителей. Все можно, все дозволено, чтобы только исторгнуть вашу подпись под сочиненными следователем выдумками. Впрочем, если

понадобится, то следователь не остановится и перед тем, чтобы подделать вашу подпись. При освобождении мне самой показывали якобы подписанные мной протоколы допросов, которых не было, и мои "показания", которых я никогда не давала.

Ложь, вообще, даже за грех не считалась. Так, например, ни на одном из допросов меня и моего мужа не только не велись стенограммы, но даже и не составлялись протоколы допросов, как этого требует закон. Просто следователь делал для себя какие-то заметки, которых мы и не видели. Тем не менее, нам предъявляли для подписи аккуратно перепечатанные пачки фиктивных "стенограмм". Несколько раз мне даже удавалось случайно увидеть один экземпляр этих "стенограмм", напечатанный на роскошной веленовой бумаге. По-видимому, это был экземпляр, предназначенный для отсылки лично Сталину.

Одним из самых гнусных приемов, практикуемых советскими следователями, является подсадка в камеры подследственных своих агентов или "ссучившихся" (продавшихся) заключенных, готовых на любое предательство и любую низость для улучшения своего положения. Психологический расчет здесь столь же ясен, сколь и подл. Истомленный следствием заключенный, оторванный от всего мира, естественно тянется к общению со своим сокамерником и склонен отнестись к нему с доверием, как к товарищу по несчастью. На этом и строится весь гнусный расчет. Авось, заключенный проговорится и

скажет посаженному к нему агенту что-нибудь полезное для следствия.

Когда ночью меня привезли с Лубянки в Лефортово и ввели в камеру, там находилась молодая женщина, которая встретила меня очень приветливо. "Здравствуйте, товарищ,— сказала она,— меня зовут Лена Бубнова". Боже мой — Лена Бубнова! "Бубочка" Бубнова — дочь Андрея Бубнова, народного комиссара просвещения и начальника политического управления Красной Армии, который был расстрелян в годы сталинских чисток! Тогда же погибла ее мать, Ольга Бубнова, и отец ее мужа, старый большевик Сулимов. Я не была раньше знакома с Леной Бубновой, но встречалась с ее отцом, много слышала о ней и знала трагическую историю этой семьи. Поэтому я как-то прониклась доверием к этой высокой, статной и приветливой женщине. Она сразу же рассказала мне о том, как ее арестовали и били. По ее словам ее арестовали летом, на улице, без всяких вещей, и все, что на ней было,— это подарки однокамерниц. Я поверила всему этому, потому что знала, что к концу сороковых годов Сталин начал систематически арестовывать подросших к тому времени и созревших для ареста детей "врагов народа".

Меня, правда, сначала, немного удивило то, что в тюрьме ее кормили несколько лучше, чем меня, но она объяснила это тем, что, якобы, существует правило, по которому улучшается питание тех, кто, как она, находится в заключении больше полу-года. Я поверила этому.

Не возбудило моих подозрений даже и то странное обстоятельство, что Бубнову вызывали на допросы всегда только днем. Я была еще очень неопытной арестанткой.

В разговорах со мной Бубнова начала убеждать меня в том, что я должна сразу во всем "сознаться". Мать ее мужа, по ее словам, тоже была еврейкой и тоже была заражена сионизмом. Дальше начались разговоры о том, что она знала Светлану Аллилуеву и даже училась в одной школе с ее первым мужем Григорием Морозовым. Так как и я была до ареста знакома со Светланой и Морозовым, то, очевидно, здесь был расчет на то, что в разговорах с Бубновой я, быть может, скажу что-нибудь такое, что можно будет истолковать как наличие "сионистского заговора" вокруг семьи Сталина. Я, конечно, ей ничего такого не сказала, потому что весь этот заговор был чистейшей выдумкой МГБ. А от разговоров о Светлане я вообще уклонялась.

В конце концов Комарову, очевидно, надоела "неудачная работа" Бубновой. Меня посадили в карцер, и ее я больше не видела. Лишь много позже, уже после моего освобождения, я узнала, что она была продавшимся агентом МГБ, которого специально подсаживали в камеры политических заключенных в расчете на то, что им будет импонировать и внушать доверие имя ее отца, народного комиссара, погибшего от руки тех же чекистов. Ее подсаживали и в камеру Евгении Аллилуевой и в камеры некоторых других арестованных по нашему делу. Бубнова была арестована задолго

до описываемого времени. Срок заключения она отбывала на Лубянке, что было неслыханной милостью. Расплачивалась она за это тем, что ее подсаживали там в камеры заключенных, а иногда возили "на гастроли" в Лефортово.

Поскольку уже речь зашла о сокамерниках, я хочу немного развеселить читателя после страшных вещей, о которых я писала. Я хочу рассказать об одном совершенно анекдотическом случае, который тоже ярко характеризует систему советской юстиции.

Большую часть того времени, пока шло следствие, мы провели в одиночных камерах. Но иногда к нам подсаживали кого-нибудь на неделю-другую. Если этот посаженный не был провокатором, как Лена Бубнова, то, очевидно, это диктовалось крайней перегрузкой тюрьмы и отсутствием места для новых арестованных. Среди таких случайных сокамерников моего мужа был некоторое время барон Армфельт, отпрыск старой шведской аристократической семьи, перешедшей на русскую службу чуть ли еще не во времена Петра Великого.

Два столетия эта семья воспитывала высших офицеров для русского морского флота. Сокамерник моего мужа, по его словам, тоже успел окончить до революции военно-морское училище в Петербурге и командовал во время первой мировой войны эскадренным миноносцем на Балтийском море. После Октябрьской революции он был, как специалист, мобилизован на Красный Флот и служил на советских военных кораблях. По окончании

гражданской войны он демобилизовался и поступил... в Ленинградскую консерваторию. У него открылся прекрасный голос, и он стал одним из премьеров ленинградской оперетты. Действительно, по каким странным и неисповедимым путям ведет людей жизнь! Сидя в камере с моим мужем, Армфельт по вечерам много напевал ему, и это сильно скрашивало их жизнь.

Понятно, что человек с такой фамилией и таким прошлым арестовывался за годы советской власти многократно. Поэтому, в отличие от нас, Армфельт был арестантом многоопытным. Он как-то рассказывал моему мужу, что во время одного из очередных следствий ему предъявили обвинение в том, что его крестным отцом был, якобы, сам генерал Маннергейм. Даже если бы это было правдой, то человек с нормальной, не советской логикой не может понять, как может кто-нибудь отвечать за выбор своего крестного отца. Известно, ведь, даже советским следователям, что обряд крещения совершается через несколько дней после рождения ребенка. Но в системе советской так называемой законности такие обвинения звучали достаточно серьезно.

В свою защиту Армфельт, не терявший чувства юмора даже в тюрьме, сказал следователю: "Подумайте. Когда я родился, Маннергейм мог быть самое большее корнетом. Неужели вы думаете, что мой родной отец пригласил бы в крестные отцы столь малозначительную персону. Нет, моим крестным отцом был полный адмирал". И, представьте себе, это сработало.

На идиотское обвинение — абсурдное оправдание. Так извращается в Советском Союзе даже элементарная человеческая логика.

* * *

Я хочу еще сказать несколько слов о том полном и абсолютном недоверии к "своим", которое характеризует отношения между людьми во всей системе органов госбезопасности. Я говорила уже о том, что на допросы нас всегда водили два надзирателя. Это — часть общей системы: заключенного никогда не оставляют наедине с одним надзирателем или с кем-нибудь одним из тюремного персонала. На прогулку, в баню, из камеры, в камеру, в карцер — вас всегда ведут двое. Даже в санчасти вас никогда не оставляют наедине с врачом или сестрой. Надзиратель или надзирательница всегда сидят здесь же. Если врач или сестра должны войти в камеру, их всегда сопровождает старший надзиратель. Даже начальник тюрьмы или его помощники никогда не входят в камеру без сопровождающих.

Делается это, конечно, не из опасения того, что атлеты, вроде нас с мужем, могут задушить здоровенного верзилу-надзирателя и убежать. Это в добрые старые времена заключенные бежали из тюрем свирепых русских царей. Из советской политической тюрьмы убежать нельзя, и чекисты это хорошо знают. Суть системы в том, что в ведомстве госбезопасности никто никому, начиная от простого солдата и кончая

высокопоставленным генералом, не доверяет. И это вполне оправдано. В среде, где утеряны всякие остатки идейности, где моральное разложение дошло до конца, где понятия чести и совести полностью деградировали, естественно видеть в каждом потенциального предателя.

Заклученного боятся оставить с кем-нибудь из "своих" не потому, что боятся заключенного, а потому, что не доверяют "своему". Боятся, как бы в ком-нибудь не проснулись остатки совести или элементарные человеческие чувства, как бы он не сказал что-нибудь запретное заключенному или, что уже совсем страшно, не передал чего-нибудь на волю. Поэтому "своих" всегда должно быть, по крайней мере, двое, чтобы один шпионил за другим и каждый боялся другого.

Эта система всеобщего недоверия, всеохватывающей взаимной слежки и доноительства направлена на разрушение всякой человеческой солидарности и создание всеобщей атмосферы страха. Она характерна для всей структуры советского общества, но с особой силой и наглядностью проявляется во внутренних отношениях сотрудников органов госбезопасности. Вот уж где, действительно, "человек человеку — шпион и предатель".

Полковник Владимир Комаров, который вел следствие по нашему делу, был несомненно умнее и ярче, чем многие другие сотрудники МГБ, с которыми нам приходилось сталкиваться. Все типичные черты чекиста сталинской выучки и школы были воплощены в нем очень четко, и потому мне кажется небесполезным остановиться немного на его облике, с которым мы хорошо познакомились в мучительные ночи допросов.

Нужно, впрочем, сказать, что фамилию и чин нашего следователя я узнала лишь перед нашим освобождением, когда во Владимирскую тюрьму приехал подполковник Масленников, который вел пересмотр всего нашего дела. Он-то и открыл мне великую государственную тайну — фамилию нашего следователя. Он сказал мне буквально следующее: "Вы были в руках крупного бериевского бандита (заметьте: бериевского, а не сталинского; даже тогда, в разгар хрущевской "оттепели", старались не подчеркивать преступную роль Сталина). Поскольку ваше дело вел непосредственно Комаров, нам нужно знать все детали о методах следствия, и я прошу вас рассказать мне все подробно, ничего не боясь и ничего не скрывая".

Из этого предисловия я поняла, что Комаров уже арестован. С превеликим удовольствием я подписала два обширных и совершенно правдивых протокола о том, как вел Комаров следствие по нашему делу. Позже, в 1955 г., в

Ленинграде судили открытым судом министра государственной безопасности Абакумова и обоих помощников начальника следственной части по особо важным делам Комарова и Лихачева. Всех троих приговорили к расстрелу и расстреляли (начальник следственной части Рюмин был расстрелян раньше). Признаюсь, когда сообщение об этом было опубликовано в газетах, я прочла его с глубоким удовлетворением.

Рассказывали, что из этих троих только Комаров сумел принять казнь с достоинством. Двое других валялись в ногах у палачей, пытаюсь вымолить себе жизнь. Так ли это, я не знаю, но о Комарове могу этому поверить. Это был отпетый разбойник, но из породы тех, кто "умел воровать — умел ответ держать", как поется в старой русской народной песне.

Не следует, впрочем, думать, что эти трое были казнены, потому что мера их злодеяний превысила норму жестокости и беззакония, царивших в органах государственной безопасности в годы Сталина-Берии, как и в годы Ленина-Дзержинского. Нет, просто убрали тех, кто слишком много знал, и кто должен был послужить козлом отпущения. Никакой сколько-нибудь серьезной десталинизации в органах госбезопасности проведено не было, и почти никто из легиона сталинских палачей серьезно не пострадал. Разве лишь, что несколько наиболее отличившихся мерзавцев уволили в отставку, обеспечив им пенсии, какие простым трудящимся и не снились. Мне пришлось прожить

позже несколько лет в доме МВД, и я хорошо видела их.

Характеристика, которую дал Комарову подполковник Масленников, была точна. Комаров был типичным и законченным чекистом. Начав свою карьеру в органах госбезопасности в молодости, в чине младшего лейтенанта, он обогрил свои руки в крови огромного числа лучших людей России и сумел не только уцелеть (ведь, таких, как он, тоже уничтожали при очередной смене сатрапов), но и дослужиться до высоких чинов и постов. Культурный уровень этого человека был столь же примитивен, как и уровень всей его среды. Не думаю, чтобы за всю свою жизнь он прочел хоть одну хорошую, серьезную книгу. А уж о моральном уровне Комарова, как и всей его среды, говорить просто не приходится: нет такой мерзости, нет такого преступления, на которые он не решился бы по требованию начальства или для успеха своей карьеры.

Самой омерзительной чертой чекистов сталинского племени, очень четко выявленной в Комарове, была полная и абсолютная беспринципность, полное отсутствие каких бы то ни было идей и идеалов. Цинизм их был беспределен. Если в первые годы революции в ЧК, наряду с бандитами и садистами, были и обезумевшие фанатики, люди, искренно одержимые мессианистской верой в коммунистические идеалы и готовые на все во имя их осуществления, то типичный чекист тридцатых и последующих годов — это совершенно беспринципный

себялюбец и карьерист, человек, стремящийся лишь к материальным благам, которые давала ему его "работа", и испытывающий садистское наслаждение своей безграничной властью над людьми, которых он мучит и пытается.

Советский следователь, а особенно следователь МГБ, мало интересуется духовным обликом подследственного: сценарий процесса начертан заранее, и ему нужно только добиться "признаний". Но в невыносимо тягостные ночи допросов мы долго и мучительно приглядывались к Комарову и его сотрудникам, и его облик стал мне совершенно ясен. У меня нет никаких сомнений в том, что в случае победы нацистов все те из них, кто уцелел бы, охотно пошли бы на службу в Гестапо. Они продолжали бы служить "арийской расе" и "тысячелетнему райху" с неменьшим рвением, чем служили "строительству коммунизма" и "социалистической родине". Для спасения своей шкуры и продолжения своей карьеры эти люди были готовы на все, как и те высокопоставленные гестаповцы, которые продолжают служить в коммунистической Восточной Германии.

И вместе с тем Комаров был умен, умен каким-то примитивно-звериным, хитрым, но все же умом. В этом отношении он был, вероятно, выше своей среды. Возможно, что в этом и был секрет того, что он не только уцелел при всех чистках органов госбезопасности, но и сделал такую блестящую карьеру. Иногда он бывал со мной откровенен и излагал позицию партии и "органов" по еврейскому и некоторым

другим вопросам. Он, конечно, ни чем не рисковал и был совершенно уверен в безопасности для него таких откровенностей. Он был уверен, что арестованные по делу, в котором были замешены ближайшие родственники Сталина, никогда не будут выплеснуты в общие лагеря и никогда не сумеют передать кому-нибудь то, что он говорил мне.

Быть может, ведя со мной такие "просветительные" разговоры, Комаров рассчитывал уговорить меня принять на себя роль главной свидетельницы обвинения, роль раскаявшейся шпионки, которая рассказывает правду о деятельности еврейской шпионской организации. Но наряду с этим, возможно, у него была и просто внутренняя потребность раскрыться, выплеснуть наружу всю свою "свидригайловскую" душу. Много подсознательных комплексов сплелось в этой потребности. Был здесь, вероятно, и оголтелый цинизм, и жажда какого-то самоутверждения, и просто садистская страсть поиздеваться над человеком, находившемся в полной его власти, чье культурное превосходство над ним и его средой он не мог не ощущать.

Думаю, что я даже в какой-то мере импонировала ему и моей работой в печати, знанием театра и тем, что я не подписала ни одного протокола против Михозлса, несмотря на все применявшиеся им "меры воздействия". Во всяком случае, в те ночи, когда он не дрался, не безобразничал и не ругался, он иногда даже делал комплименты моей интеллигентности. Был 1948-й год. Все лучшее в стране, почти все

талантливые, культурные, мыслящие люди были уничтожены, а уцелевшая масса интеллигенции была запугана и деморализована. Сделали свое дело и десятилетия советской монопольной и унифицированной пропаганды. Культурный уровень общества страшно понизился, огромное большинство людей было оболванено и обезличено. Что же касается той среды, в которой жил Комаров, то она находилась на совершенно примитивном уровне и растеряла все моральные ценности. Комаров это, по-видимому, ощущал, и потому на этом фоне даже я, самая обычная средняя интеллигентка, могла казаться ему гораздо более интеллигентной, чем те люди, особенно женщины, в среде которых он жил.

Я как-то сказала Комарову: "С какими же кухарками вам, очевидно, приходится встречаться, если вы так высоко оцениваете мой средний культурный уровень, нормальный для интеллигентной среды". В контексте этого разговора слово "кухарка" было намеком на слова Ленина о том, что каждая кухарка может управлять государством. Оно относилось ко всей его среде, и за это слово я, конечно, очень пострадала.

Так или иначе, но Комаров, "работавший" всегда по ночам, десятилетиями балансировавший на краю пропасти, рискуя ежеминутно получить пулю в затылок (со "своими" они расправлялись просто), испытывал какую-то внутреннюю потребность высказать свои мысли. В такие ночи, когда меня приводили в его

огромный пустой кабинет и оставляли на долгие часы на табурете под яркой лампой и под бдительной охраной "вертухаев", он, иногда, вернувшись из других застенков, решал отдохнуть до утра и побеседовать со мной. Он усаживался в свое большое комфортабельное кресло, клал ноги на другое кресло, брал в руки газету и начинал медленно, со вкусом есть шоколадные конфеты. Это делалось, конечно, с умыслом, сознательно. Он знал, что я истомлена бессонницей, что я просидела ночь на табурете, не имея возможности закрыть глаза, что я голодна, потому что кормили нас в Лефортове впроголодь, а получать передачи из дома нам не разрешали. Он знал все это и сидел передо мной сытый, выхоленный, комфортабельно развалившись в кресле, почитывая газету и посасывая конфеты. В этом тоже был, конечно, изощренный садизм.

Такая идиллия продолжалась обычно довольно долго и прерывалась лишь рычанием: "Не смей закрывать глаза! Не смей спать!". Отдохнув, почитав газету и наевшись конфет, "наработавшийся" Комаров иногда решал дать себе передышку, и тогда он просто со мной беседовал, популярно разъяснял политику партии вообще и по еврейскому вопросу, в частности.

Такие же душеспасительные беседы он вел иногда и с моим мужем. Были эти беседы поучительны, ибо они полностью раскрыли нам глаза на всю гнусность советской политики и на тот зоологический, звериный антисемитизм,

которым была проникнута вся верхушка партии, весь ее аппарат. В развитии нашего национального самосознания, в нашем понимании исторической роли государства Израиль и необходимости переселения туда всех евреев Советского Союза, беседы Комарова сыграли немалую роль. О содержании этих бесед я расскажу позже.

Иногда эта газетно-конфетная идиллия кончалась для меня не так благополучно. У него возникало желание дать себе волю, ругаться и безобразничать. Ведь все было позволено. Не было никаких препон, ни моральных, ни со стороны закона. Я родилась и выросла в России и знаю не только литературный язык, но и ту матерщину, которой любит пересыпать свою речь как простой русский человек, так и деятели великой коммунистической партии. У последних матерщина — это своего рода "шик" и демонстрация волевых качеств руководителя. Но такой изощренной, такой "многоэтажной" ругани, какой осыпал меня Комаров, я никогда раньше не слышала. Признаюсь, я не всегда понимала даже смысл той грязи, которой он поливал меня... при всем его уважении к моей интеллигентности в хорошие минуты.

Случалось, что в такие ночи Комаров подходил ко мне, валящейся с ног от бессонницы и утомления, и начиналось "тихое воспитание". Была зима. Комаров всегда одевался очень хорошо, даже с щегольством. Он носил штатскую шубу с бобровым воротником и такую же бобровую шапку. Такие шубы и шапки носили

до революции очень богатые купцы, и эта тяга к купеческим бобрам тоже была весьма показательна для среды выскочек и "нуворишей" из партийной элиты. В холодные дни он носил на ногах теплые бурки — сапоги из валяной овечьей шерсти с кожаным низом. Мне, измученной и голодной, сапоги эти казались огромными на этом крупном человеке. Комаров подходил ко мне и начинал методически ударять меня твердым кожаным носком своего сапога по ногам выше подъема, т.е. по костям ног. Я старалась убрать ноги под табуретку, а он все ударял и ударял по ним, пока я не валилась на пол. Тогда он командовал: "Встать!", и все начиналось сначала.

Очень нескоро наступал тот благословенный момент, когда уже под утро ему звонили, что машина подана, и меня уводили в камеру.

Действие третье: преступники разоблачены

Следствие по-советски. Я говорила уже о тех пытках и избиениях, которые чекисты систематически применяли к заключенным. Мне трудно говорить об этом подробнее, и я не буду к этому больше возвращаться. Да в этом, может быть, и нет надобности. Написано об этом много, хотя и далеко не все. Я хочу лишь подчеркнуть, что Сталин несет не только общую политическую ответственность за введение и санкционирование этих бесчеловечных методах следствия

в советских органах государственной безопасности. В ряде случаев пытки и избиения применялись по его прямому и непосредственному указанию.

Наше дело было задумано сначала как важная политическая антиеврейская акция. В ней были замешаны близкие родственники Сталина. Поэтому велось это дело под его непосредственным контролем и руководством. По ночам Комаров иногда звонил Сталину по правительственному телефону. В одну из таких ночей я услышала его слова: "Иосиф Виссарионович, она не сознается. Какие будут указания?" Выслушав ответ, он сказал: "Есть. Применять по первой категории без повреждения мяса".

В результате я вышла из тюрьмы с поврежденным позвоночником и суставами рук и ног, с больным сердцем, с шумом в ушах и сильно испорченным зрением. На коже у меня долго оставались черные пятна от резиновых дубинок. Но мяса у меня не вырывали. Такие следы остались на всю жизнь у моего мужа.

В начальной стадии следствия, когда, по-видимому, готовился открытый процесс, мне по сценарию предназначалась роль связной между двумя сионистскими шпионскими центрами. Я должна была выступить на суде как раскаявшийся шпион и рассказать о преступной деятельности евреев в СССР. Я должна была дать показания против Михозлса и подтвердить, что я лично, якобы, передавала ему секретную информацию для переправки в США. Поэтому

в первые дни следствия все допросы вращались лишь вокруг Михозлса и преступной деятельности евреев, собиравших, якобы, через Аллилуевых, секретный материал о Сталине. Моими личными преступлениями почти не интересовались: я должна была сама сознаться в этих преступлениях (каких?).

К той роли, которая мне предназначалась в предстоящем процессе, Комаров сначала пытался подвести меня по-хорошему. Приведу лишь один разговор, запомнившийся мне почти дословно.

-- Вот вы (на этот раз не "ты", не "шлюха", не "б...", а вежливо, по-культурному), вот вы, умная женщина (даже комплимент!), а политики наших органов не понимаете. Вы говорите о том, что вы — только подследственная, но еще не осужденная. Поймите, что для нас это различие не существует. Все виновны.

-- Как все? Все двести миллионов советских граждан?

— Да, за исключением грудных детей и дошкольников.

— Какая же разница между мной, сидящей за решеткой, и теми, кто свободно ходит по улицам?

— Почти никакой. Просто, вы уже арестованы и, значит, осуждены, а те пока еще не арестованы.

-- А вы, власть имущие, вы тоже виновны, но пока еще не арестованы?

На этот вопрос я получила физический ответ. Словесный же был такой, что воспроизвести его в печати невозможно.

После таких объяснений, считая, что я достаточно подготовлена, Комаров сделал мне такое заманчивое предложение: "Хотите ли вы,—спросил он меня,— чтобы двери тюрьмы растворились перед вами? Чтобы вы могли жить спокойно, растить вашего сына, жить даже лучше, чем вы жили раньше? Это возможно, но вы должны доказать нам, что вы — наш человек, что мы можем полностью вам доверять и на вас полагаться".— "Чего же вы хотите,— ответила я,— вы хотите использовать мои хорошие отношения с Михозлсом и послать меня шпионом в еврейский театр? Я на это не пойду. Вы знаете, что я считаю Михозлса не только выдающимся актером, но и одним из самых честных, светлых людей".

Комаров рассмеялся: "Не надо никуда ходить, — сказал он, — вы опять не понимаете наших методов работы. Вы тут, у нас, докажите нам, что вы сделаете то, что нам нужно. Вспомните историю некоторых открытых процессов. Неужели вы не понимаете, что в каждом таком процессе нам нужен "свой" человек среди подсудимых. Вспомните, как удивлялась вся Москва, когда известный инженер-теплотехник, осужденный как вредитель и контрреволюционер, после процесса зажил припеваючи на закрытой даче, куда к нему приезжала жена, получавшая за него заработную плату. А вскоре он и вообще был освобожден и даже получил за свою работу большую государственную премию. Так-то. Сейчас вас уведут в камеру. Я дам вам возможность отоспаться и время подумать".

Я воспользовалась передышкой, немного отдохнула, главное — выпалась, и когда Комаров снова вызвал меня на допрос, я сказала ему: "Я поняла все и от той роли, которую вы мне предлагаете, отказываюсь". Комаров встал, засучил рукава и сказал: "Никогда больше ты не увидишь своего сына и свою мать, своего Тума (он знал, что в тесном дружеском кругу моего мужа звали просто Тумом) и свою Женю (Евгению Аллилуеву)". После чего он и приступил к допросу "по первой категории".

В конце января, когда я вернулась в Лефортово после 11 суток в боксах Лубянки, меня поместили в невыносимо сырую камеру, и направление допросов резко изменилось. На первом же допросе после возвращения в Лефортово я спросила Комарова: "Опять вы будете мучить меня из-за Михоэlsa? Предупреждаю вас, что ничего из этого не выйдет. Вы можете убить меня, мне теперь уже все безразлично, но никаких показаний против Михоэlsa я не дам",— Комаров только усмехнулся: "Михоэls нас больше не интересует. Если мы и будем говорить о нем, то очень мало."

По наивности я обрадовалась: "Значит, сионистская шпионская организация отпадает?"—"Эх, вы, святой наив,— ответил Комаров, который в хорошие минуты называл нас с мужем "святыми наивами", от слова "наивность",— та или иная, но подпольная сионистская организация найдется, и вы подпишете все, что нам нужно".

О таком же переломе в ходе следствия рассказывает и мой муж. В первом разговоре на Лубянке, на следующий день после нашего ареста, Комаров шутливо упрекнул его в том, что ему пришлось нарушить свой воскресный отдых и приехать на Лубянку. Муж мой выразил сожаление по этому поводу, сказал, что и он предпочел бы провести воскресный день дома, и предложил обоим мирно разъехаться по домам. После такого обмена "шуточками" Комаров спросил его: "Как вы думаете, почему мы вас арестовали?". Муж ответил, что знать он этого, конечно, не может, но предполагает, что это может быть связано с небольшим пожаром, возникшим за некоторое время до этого в его лаборатории в Физическом Институте Академии Наук. В Институте велись важные закрытые работы и, быть может, его подозревают в небрежности или недостаточной осторожности. "Нет, пожары нас не интересуют. Это — дело милиции!" — "Тогда,— сказал мой муж,— скажите вы мне, в чем вы меня обвиняете", — "Нет,— был ответ Комарова,— этого я вам не скажу. Вы сами должны сознаться во всех своих преступлениях".

Я очень хотела бы, чтобы эти строки прочли те "либеральные" и "прогрессивные" юристы на Западе, которые всерьез говорят о Советском Союзе, как о государстве, где существует право и закон, и которые всерьез изучают систему советского так называемого права, систему, существующую лишь на бумаге.

До второй половины января 1948-го года все допросы моего мужа также вращались только вокруг Аллилуевых, Михозлса и вражеской, преступной деятельности евреев в СССР. Вопрос о собственных его преступлениях почти не затрагивался, и никаких обвинений ему не предъявляли. В конце месяца направление допросов резко изменилось. Допросы уже шли не столько по линии "шпионажа", осуществляемого еврейскими организациями, сколько по руслу обвинений в "сионистской пропаганде" и "намерении уехать в государство Израиль". Изменились и методы следствия. Раньше его допрашивали относительно корректно, если не считать, конечно, пытки бессонницей. Теперь из него начали выколачивать резиновыми дубинками "признания" в его преступных намерениях и разговорах.

Мы не знали тогда, что этот перелом в ходе следствия был вызван тем, что в начале 1948-го года сценарий нашего дела был пересмотрен. Решено было открытого процесса не создавать, а Михозлса тайно убить. Это было сделано по прямому и личному приказу Сталина. Даже официальная версия о том, что Михозлс, якобы, стал жертвой автомобильной катастрофы, была санкционирована Сталиным. Об этом пишет Светлана Аллилуева в своей книге "Только один год".

Трудно сказать, что заставило Сталина изменить свой первоначальный план. Думаю, что решающее значение имела широкая известность Михозлса за границей, особенно после его

поездки в США во время войны. Его арест мог вызвать за границей слишком сильную реакцию, в то время Сталину нежелательную. Проще было разделаться с ним привычным методом тайного убийства. Возможно также, что признано было неудобным проводить большой открытый антиеврейский процесс как раз в то время, когда Советский Союз так горячо выступал в ООН за создание государства Израиль.

К тому же у органов госбезопасности не было уверенности в том, что Михозлс, человек сильный и волевой, будет вести себя на суде так, как им это было нужно. Дочери Михозлса, живущие сейчас в Израиле, считают это одной из важнейших причин того, что их отец был убит, а не арестован. Я согласна с ними. Некоторое значение могло иметь и то, что мы с мужем держались достаточно стойко и не дали никаких показаний, изобличающих вражескую деятельность Михозлса. Убийцы из сталинской шайки не были вполне уверены, что задуманный ими открытый процесс, который должен был привлечь к себе внимание всего мира, пройдет совершенно гладко.

Конечно, все это -- только догадки и предположения. Подлинные причины, побудившие Сталина изменить свои планы и убить Михозлса, станут известны, когда будут вскрыты секретные архивы МГБ и Центрального Комитета коммунистической партии. Так или иначе, но 13-го января 1948-го года Михозлс был убит в Минске. Мои показания против него стали уже не нужны, и меня попросту "забыли" на несколько суток в боксах Лубянки.

В феврале-марте следствие по нашему делу замерло. Больше месяца нас на допросы не вызывали, и мы отоспались, немного пришли в себя. Тогда причины этого перерыва были нам непонятны, потому что газет мы не получали и ничего о событиях во внешнем мире не знали. Поняли мы эти причины много позже, лишь тогда, когда узнали, что как раз в это время произошла первая оккупация Советским Союзом Чехословакии, оккупация, на которую "свободный" мир реагировал так же позорно и безвольно, как и на вторую — в 1968 г. Органы МГБ были заняты в это время более серьезной работой, и им было не до нас.

Допросы возобновились, сколько могу вспомнить, в апреле. Во всяком случае, когда Комаров впервые после перерыва вызвал меня на допрос, было уже тепло, и на вешалке в его кабинете вместо купеческой шубы на бобрах висело прекрасное заграничное легкое пальто. "Давненько не виделись", — приветствовал меня Комаров и тут же, не удержавшись, похвастался тем, что уезжал в заграничную командировку. Теперь-то мне ясно, куда он ездил и какой "работой" был занят. Кто знает, кровь скольких чехов и словаков обарила руки этого обер-бандита.

В 1947 г., чтобы продемонстрировать гуманность Советской власти, смертная казнь была отменена. Правда, года через два ее восстановили, но и в то время, когда смертная казнь была формально отменена, это не очень

беспокоило органы госбезопасности и не доставляло им особых затруднений. В качестве психологического введения к предстоящим допросам Комаров разъяснил мне это. "Расстрелять вас сейчас,— сказал он,— мы не собираемся. Но у нас есть такие медные и прочие рудники, такие серные и соляные копи, где и самые здоровые молодые люди на выдерживают больше двух-трех лет, а вы издохнете там в один год. Впрочем, мы можем даже не посылать вас и туда, а заживо погresti вас в такой могиле, что самая смерть покажется вам избавлением". Это не было пустой угрозой. Такие места у МГБ имелись, да, вероятно, имеются и сейчас.

После убийства Михозлса и изменения сценария дела, задача следствия значительно упростилась. Конечно, о нашем освобождении и говорить не приходилось. В МГБ вообще всякий арестованный — уже осужденный, и случаи освобождения арестованных и их оправдания являются редчайшим исключением. Как правило, это происходит только тогда, когда арестованный согласился стать "нашим человеком". Возможность же оправдания и освобождения нас полностью исключалась. Слишком громким и слишком секретным было это дело, в котором были замешаны родственницы Сталина. Слишком много мы знали и слишком много поняли о подоплеке этой провокации. Нас нельзя было даже послать в общие лагеря, где мы общались бы с другими заключенными и правда могла бы как-то просочиться наружу.

Конечно, обвинить нас в антисоветской агитации и пропаганде было для Комарова делом очень легким. Но в нашем случае этого было мало. Обвинение нас по таким "тривиальным" преступлениям, предусмотренным п.п. 10 и 11 печально известной ст.58 Уголовного Кодекса РСФСР, лишило бы все дело того специфического антиеврейского характера, ради которого оно было задумано. Нужно было "пришить" нам государственную измену и показать, что движимые националистическими чувствами и подстрекаемые сионистско-американскими агентами мы совершили или намеревались совершить акт государственной измены, предусмотренный п.1а той же ст.58.

В подыскании "доказательств" этих наших преступлений Комаров особенно себя не затруднял и не останавливался перед самыми чудовищными нелепостями. Я уже говорила о том, что во время допросов не велись не только стенограммы, но и протоколы. Последние составлялись следователем позже, по его записям, и предъявлялись обвиняемому для подписи. В одном из таких сочиненных Комаровым протоколов было сказано, что если бы муж мой получил в порядке обмена учеными длительную командировку в США или в Европу, то мы бы изменили родине и остались бы там. А оставшись, стали бы сотрудничать с органами империалистических разведок и стали бы выдавать им советские "секреты".

Когда я сказала Комарову, что ведь в то время, во время холодной войны, и речи не было о таких командировках, а если бы они и были, то мой муж был последним человеком, который мог бы на такую командировку надеяться, то Комаров сказал мне: "А здесь ведь и не сказано, что вы были в такой командировке, и что вы остались или пытались остаться там. Здесь сказано только то, что было бы..."

Одним из обстоятельств, "доказывающих" и даже отягощающих вину мою и моего мужа, было наше знакомство — совершенно случайное и поверхностное — с дочерью Сталина Светланой. Я познакомилась с ней в доме ее тетки, Евгении Аллилуевой, и несколько раз встречалась с ней там. На каком-то семейном празднике у Аллилуевых познакомился со Светланой и мой муж. Такое знакомство по советским нормам само по себе является подозрительным, если не прямо преступным. Но к тому же — о, ужас! — когда в 1946 г. Светлана переехала из Кремля в Дом Правительства, ей дали квартиру в том же подъезде, где жили и мы, двумя этажами ниже. А поскольку со Светланой мы были знакомы, то при встречах здоровались и иногда разговаривали.

Такое общение каких-то евреев-интеллигентов с дочерью "вождя", конечно, не могло укрыться от бдительного ока органов и настораживало их бдительность. Но уж совершенно несомненным доказательством наших преступных замыслов был такой эпизод. За несколько месяцев до нашего ареста Евгения Аллилуева как-то

позвонила мне по телефону и предложила пойти с ней в Дом Писателей, где должен был состояться вечер воспоминаний, посвященный памяти Сергея Аллилуева, главы этой семьи. Я приняла это приглашение, и вечером мы с Евгенией пошли пешком, чтобы прогуляться, в Дом Писателя, находящийся на ул. Воровского (б. Поварской). Там мы встретили нескольких знакомых, в том числе Светлану и Анну Аллилуеву, которая незадолго до этого выпустила в свет книжку своих семейных воспоминаний, весьма не понравившуюся Сталину. В зале мы сели все вместе, одной группой.

Вечер был утомительно скучным. Старые большевики выступали с тусклыми и совершенно неинтересными воспоминаниями, и Светлана тихо сказала мне: "Уйдем. Очень скучно". Я ответила ей, что нужно дождаться перерыва, и, действительно, как только перерыв объявили, все мы поднялись и вышли на улицу, где Светлану ждала машина с ее личным шофером Сергеем.

Я еще не забыла, что все же Господь Бог или Природа дали человеку ноги, а не колеса. Поэтому я стараюсь ходить пешком всегда, когда это возможно. И на этот раз я предложила всем пройти пешком, благо погода стояла отличная. Однако все остальные, в том числе и Евгения, устали и предпочли поехать домой в машине. Набилось нас в машину людей больше, чем это разрешено правилами уличного движения, но Сергей резонно сообразил, что эти правила не для него писаны, и лихо подвез

нас всех к Дому Правительства. Сколько помню, все сейчас же разошлись по домам. Во всяком случае, я пошла домой, где меня ждали муж, мать и ребенок.

Казалось бы, случай самый будничный и ничем не примечательный. Ни в какой другой, нормальной, стране он не привлек бы ничего внимания. Но то в другой стране, а в Советской... Сколько мучительных ночей допросов пережила я, пока Комаров выяснял мои "преступные связи" с дочерью Сталина. "Какое право вы имели,-- рычал он,-- поддерживать знакомство с дочерью Сталина? Какие цели вы преследовали при этом? Какое право вы имели разговаривать с ней и даже сесть в ее машину?". Никакие мои объяснения во внимание не принимались. Все истолковывалось как доказательство существования сионистского шпионского центра.

Столь же основательны были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде. Так как никаких конкретных фактов, подтверждающих эти обвинения, у Комарова не было, то он в одну из относительно "тихих" ночей преподал мне урок на тему: "Литература в понимании органов госбезопасности". В начале ночи он был чем-то расстроен и разговор начал совсем необычный -- о литературе вообще и литературе советской, в частности. Поговорили тихо и мирно. Вдруг, помолчав и поевши конфет, Комаров спросил меня: "Вы читали книгу Веры Пановой "Спутники"?"

-- Читала.

-- Понравилась вам эта книга?

-- Нет, не понравилась.

-- Почему не понравилась?

-- Потому что, по моему мнению, она лишена каких бы то ни было литературных достоинств и вообще не может считаться произведением художественной литературы.

-- Но ведь эта книга получила первую Сталинскую премию по литературе. Почему?

-- Может быть, за правильную политическую линию. Я не член комитета по Сталинским премиям и не знаю, какими критериями руководствуются члены этого комитета.

-- Но вы знаете, кому эта книга понравилась?

-- Знаю. Сталину.

На этом разговор о литературе кончился. Комаров подошел ко мне: "Товарищу Сталину нравится, а тебе не нравится!". И приступил к делу.

На следующий день я получила для подписи "протокол" допроса, где черным по белому было сказано, что я питала антисоветские взгляды в области литературы, что я вела антисоветскую пропаганду в литературной среде и т.д. В Советском Союзе этого вполне достаточно для осуждения по п.п. 10 и 11 ст. 58 Уголовного Кодекса.

Легче всего было Комарову сформулировать и обосновать обвинение меня и моего мужа в сионистских настроениях. Мы и сами никогда не скрывали ни своих симпатий к возникавшему в то время государству Израиль, ни своего

убеждения в том, что все евреи, желающие сохранения еврейского народа как такового, должны уехать туда и принять участие в строительстве нового государства. В первую очередь — считали мы — должны уехать специалисты: врачи, инженеры, ученые, квалифицированные рабочие. В своей наивности мы не сомневались в том, что как только государство Израиль будет юридически признано Советским Союзом, всем евреям-гражданам СССР немедленно будет предоставлено право и возможность репатриации туда. Мы исходили при этом из исторического прецедента. Ведь, когда при Ленине Советский Союз признал в качестве самостоятельных государств Польшу, Финляндию, прибалтийские республики, то лицам соответствующих национальностей было предоставлено право оптации гражданства этих новых государств. Почему же должно было быть иначе в отношении государства Израиль, еврейского государства? В связи с этим мы подумывали и о своем переселении в Израиль.

Это и давало Комарову возможность "пришить" нам обвинение в государственной измене. Делалось это по такой примерно схеме.

— Радовались ли вы созданию государства Израиль? Симпатизировали ли вы ему?

— Да.

— Ага! Значит вы были еврейскими националистами, т.е. сионистами (в СССР принадлежность к сионизму сама по себе считается преступлением).

— В этом смысле, очевидно.

— Говорили ли вы в кругу своих друзей и знакомых, что после признания Израиля Советским Союзом большинство евреев, и в первую очередь высококвалифицированные специалисты, должны уехать туда?

— Да, говорили, но не видим в этом никакого преступления, поскольку мы были убеждены в том, что евреям будет предоставлена легальная возможность репатрироваться в Израиль.

— Это неважно. Намеревались ли вы сами уехать в Израиль?

— Мы обдумывали такие планы, но мы не собирались сбежать за границу нелегально.

— Это несущественно. Значит вы намеревались совершить акт государственной измены, а согласно ст. 19 Уголовного Кодекса РСФСР преступное намерение карается так же, как совершенное преступление.

Готово! Ловушка захлопнулась и спасения нет!

Вопиющая нелепость применения в нашем случае статьи 19-й, карающей "преступные намерения", совершенно ясна всякому. Здесь не только не было никаких подготовительных действий к совершению преступления, что входит в понятие "преступных намерений", но и вообще, как можно считать преступлением высказанное человеком желание воспользоваться своим законным правом на репатриацию, если и когда это право будет ему предоставлено. Однако кого и когда в практике советской юстиции смущало или смущают такие жульнические передержки!

Уроки советского антисемитизма

Живя в среде старых большевиков, я никогда не ощущала у них неприязни или предвзятого отношения к евреям. Чужд был антисемитизм и Ленину, который не раз высказывался с одобрением о высокой интеллектуальной одаренности евреев и их роли в революционной борьбе. Последнее неудивительно. Живя в России под двойным гнетом, социально-экономическим и национальным, евреи в массе своей были настроены по отношению к царскому режиму резко оппозиционно, а молодое поколение, полностью порвавшее все связи со старыми религиозными традициями и глубоко ассимилированное в русской культуре, принимало в революционной борьбе очень активное участие. И в партийных массах и в партийном руководстве процент евреев был, к сожалению, очень высок, чрезмерно высок.

При этом, однако, все большевики — евреи и неевреи в равной мере — считали совершенно ненужными и даже вредными всякие попытки сохранения какой бы то ни было самобытной еврейской культуры, хотя бы даже культуры, полностью порвавшей со всеми традициями прежнего религиозного юдаизма. Пути разрешения многовековой еврейской проблемы все они видели в полной ассимиляции евреев, в полной утрате ими национальной идентификации и растворении их в русском обществе.

Поэтому и в своей идеологии и в своей практике большевизм был резко враждебен не только идее возрождения еврейского государства и сионизму, отвлекавшему евреев от борьбы за революцию в России, но даже и еврейскому социал-демократическому движению ("Бунду"). Последний, хотя тоже отрицал идеи сионизма и был враждебен ему, все же стремился в какой-то мере сохранить еврейство как национальность и развивать советскую еврейскую культуру на языке "идиш". Это было для большевизма неприемлемо.

В годы гражданской войны, главным театром которой был юг России и преимущественно Украина, с ее очень значительным еврейским населением, Советская власть и Красная Армия были единственными защитниками евреев от погромов и насилий, осуществлявшихся с неслыханной жестокостью "белыми" и в еще большей мере украинскими националистами всех мастей. К глубоко укоренившейся в народных массах ненависти к евреям присоединилось то, что в глазах белых евреи были носителями революционных идей, а в глазах украинских националистов — носителями руссификации. Советская власть выступала как защитница евреев столько же из этих соображений, сколько по обще-идеологическим основаниям, которые тогда еще не выветрились и владели умами партийного руководства.

Чрезвычайные комиссии истребляли "классовых врагов" — представителей прежних правящих классов и интеллигенцию — с меньшей жестокостью, но в их деятельности не было

элементов национальной дискриминации. Истребляли без разбора всех: евреев и неевреев. Понятно, поэтому, что в годы гражданской войны евреи почти поголовно, не исключая и представителей еврейских торговых и капиталистических кругов, были на стороне красных. Многие евреи сыграли очень важную роль и в захвате большевиками власти, и в удержании ее в годы гражданской войны, и в строительстве новой общественной структуры. Да и в последующие годы очень многие евреи заняли высокие посты в новом государственном и партийном аппарате, в том числе — к стыду моему — в Чрезвычайных Комиссиях и в сменивших их под другими названиями органах насилия и бессудных расправ.

В силу всех этих причин в первые два десятилетия Советской власти, до установления единоличной диктатуры Сталина, антисемитизма как государственной политики в СССР не было, а вспыхивавшие иногда проявления бытового, стихийного антисемитизма подавлялись властью довольно решительно. Не было дискриминации ни при выдвижении на высокие посты в государственном партийном аппарате, ни при приеме в высшие учебные заведения, ни при продвижении в науку, искусство, культуру.

При этом, однако, оставалась неизменной прежняя идеологическая установка партии, курс на всяческое подавление самобытной еврейской культуры, хотя бы и вполне советской, и на полную ассимиляцию, я сказала бы даже полную денационализацию, еврейства. Сионизм оставался по-прежнему идеологией вражеской, и

борьба с ними велась органами государственной безопасности жестоко и непримиримо. Стараниями этих органов сионизм в СССР был разгромлен, части его деятелей дали в двадцатые годы возможность уехать в Палестину, а оставшихся преследовали жестоко и беспощадно. Оставались еще несколько отдельных мужественных носителей сионистской идеи, но организационно сионизм в СССР был полностью разгромлен. Насколько я могу судить о хорошо известном мне положении в Москве, Ленинграде и других крупных центрах, где после революции оказалась сосредоточенной основная масса советских евреев, сионистские идеи не имели в эти годы сколько-нибудь широких корней ни в среде интеллигенции, ни в народных массах. Еще не развеялся туман социалистических идей и не была изжита вера в то, что социальная революция в СССР несет в себе и разрешение еврейской проблемы.

О положении в странах, не знавших советской диктатуры, — в Польше, прибалтийских республиках, Западной Украине и Закарпатья — я судить не могу. Там, по-видимому, в большей мере сохранился традиционный юдаизм и сильнее были сионистские настроения.

После прихода к власти Сталина и выращенного им нового племени большевиков обстановка коренным образом изменилась. В зверином антисемитизме самого Сталина и его соратников сплелось много психологических нитей. Была здесь и характерная для всех примитивных людей ксенофобия — вражда ко всему чуждому,

непохожему, отличному. Было, вероятно, и смутное ощущение того бунтарского духа, той нонконформистской ментальности, которые столь характерны для еврейской интеллигенции. Немалую роль, конечно, сыграло и наличие большого числа евреев в рядах партийной оппозиции Сталину и сталинизму, в частности, то, что евреем был Троцкий, на котором была сосредоточена вся паталогическая, паранойная ненависть Сталина.

Но несомненно за всеми этими психологическими и эмоциональными мотивами, осознанными и подсознательными, был и трезвый политический расчет. В годы Большого Террора Сталин сумел избавиться от большого числа евреев, занимавших высокие посты в советской иерархии, и начал систематически замещать эти посты своими, преимущественно русскими, людьми. Началась и политика постепенного, пока еще скрытного, вытеснения евреев из области культуры и науки. Однако в предвоенные и особенно в военные годы Сталин был еще вынужден в какой-то мере считаться с общественным мнением в странах своих западных союзников, особенно с общественным мнением в США, участие которых в войне предопределяло ее исход — победу или поражение. Он не мог поэтому допустить в это время открытое и явное проявление антисемитизма как государственной политики. Зверь, таившийся в нем всю жизнь, вынужден был на время втянуть свои когти. Более того, поскольку весь мир был потрясен ужасами гитлеровской расправы с

евреями, Советский Союз должен был накинуть на себя личину их защитника.

Факты, свидетельствующие о чудовищном лицемерии Сталина и сталинцев в этих вопросах, сейчас уже известны всему миру. Достаточно напомнить о том, как предал Сталин повстанцев Варшавского гетто, сознательно задержав свои войска, чтобы дать Гитлеру возможность и время для их истребления. Не буду останавливаться на этом, но я хотела бы лишь рассказать об одном случайно ставшем мне известном эпизоде, который, может быть, и малозначителен на фоне больших исторических событий, но ярко свидетельствует о лживости и лицемерии большевистской политики.

Об этом эпизоде рассказал нам перед нашим отъездом в Израиль один наш знакомый — еврей, живший до войны в Польше и сумевший в начале войны перебраться в СССР. Этот человек служил в штабе Андерса в Москве и, по-видимому, занимал там какие-то высокие посты. После ухода армии Андерса в Иран он остался в Москве и продолжал работать в штабе формируемой коммунистами новой польской армии. Насколько я могу догадываться, он работал в разведывательном отделе этого штаба. Назвать имя этого человека я пока не могу.

В 1943-м или 1944-м году (не помню точно) ему стало известно, что Сталин лично приказал одному из партизанских соединений, действовавших в немецком тылу, оторваться от группы евреев, которых это соединение прикрывало, и оставить этих людей на произвол судьбы.

Фактически это означало отдать в руки немцев и обречь на смерть много сот или тысяч женщин, детей, стариков.

Спасти этих людей могло только немедленное личное вмешательство Рузвельта. Времени действовать по обычным каналам не было, и наш знакомый в тот же вечер, когда узнал об этом страшном приказе, сообщил о нем сотруднику американского посольства в Москве с просьбой немедленно доложить послу, чтобы тот мог известить об этом лично Рузвельта. Через несколько часов наш знакомый был арестован и протомился в тюрьме до смерти Сталина. *Сотрудник американского посольства в Москве оказался агентом МГБ.*

Впрочем, после того, что мы узнали о том, как эти "носители демократии и гуманности" — Черчилль и Рузвельт — подло и трусливо предали советских военнопленных, перемещенных граждан СССР и даже казаков, которые никогда гражданами СССР не были, — я думаю, что ничего не изменилось бы в судьбе и этих жертв Сталина, если бы Рузвельт и узнал своевременно о приказе своего союзника.

У меня нет объективных доказательств правильности этого рассказа, но я лично не сомневаюсь в его правдивости.

Уже к концу войны и особенно в первые послевоенные годы мы стали совершенно явственно ощущать веющий с самых верхов коммунистической партии дух злобного антисемитизма. Это проявилось прежде всего в систематическом удалении евреев со всех сколько-нибудь видных постов в партийном, советском и

хозяйственном аппарате. Такая тенденция была с удовлетворением принята и одобрена той средой новой коммунистической бюрократии, на которую опирался Сталин и которая привела его к неограниченной власти. Одно дело было иметь евреев сотрудниками в борьбе против царизма и "белых", делить с ними преследования, аресты, тюрьмы, казни, и совсем другое — делить с ними добычу. Каждое теплое местечко, с которого снимали еврея, доставалось кому-нибудь из "своих". Это облегчало им борьбу за такие места и укрепляло их преданность Сталину и его режиму.

Одновременно все больший размах получала кампания за вытеснение евреев из области культуры и искусства. Кампания эта велась под прикрытием борьбы против "космополитов" с подчеркнутым раскрытием еврейских фамилий многих деятелей культуры, работавших под псевдонимами. Подлинный смысл этой кампании был ясен всем, но особого протеста она не вызывала и в среде русской интеллигенции, к тому времени уже глубоко деморализованной и запуганной. И в этой среде сталинская политика многим облегчала борьбу за "место под солнцем".

Мы ясно ощущали все это, и горечь накапливалась в наших сердцах. Но полное представление о размахе и характере советского антисемитизма я получила только во время следствия в Лефортове. В "тихие" ночи, когда Комаров ощущал потребность раскрыться и высказаться, он преподавал мне несколько уроков об отношении

коммунистической партии к евреям. В таком обнаженном виде советский антисемитизм предстал передо мной впервые. Здесь уже не было даже попытки прикрыться фиговым листком какого-нибудь идеологического оправдания.

Первый полученный мной урок был связан с вопросом о роли евреев — граждан СССР в войне против нацизма. "Знаете ли вы, что в СССР выходит на языке идиш газета "Дер Эмес" ("Правда")?", — спросил меня Комаров, — "Конечно, знаю". Дальше беседа шла так.

— Знаете ли вы, что писала эта ваша газета о числе евреев, получивших во время войны звание Героя Советского Союза и о числе евреев, награжденных боевыми орденами?

-- Знаю. Газеты этой я не читала, потому что языком идиш не владею и не знаю даже еврейского алфавита, но люди, читавшие эту газету, рассказали мне, что по абсолютному числу Героев евреи стоят на четвертом месте — после русских, украинцев и белоруссов, а в процентном отношении к численности населения они занимают первое место.

— Вот мы вам покажем, как писать такие вещи о евреях. И главный редактор этой газеты и вся ее редакция сидят тут у нас, в тюрьме. А ваших еврейских героев мы тоже гноим и будем гноить.

— Но, ведь, газета "Эмес" — орган Центрального Комитета партии, и такие сведения она, очевидно, могла получить только из официальных источников, скорее всего из отдела

награждений Верховного Совета СССР. Если эти сведения ложны, то ответственность должны нести и отдел печати ЦК и Главлит (Управление цензуры). Если же это правда, то почему же ее нельзя печатать?

— Эти сведения верны, но не всякую правду об евреях мы позволим печатать. Это не наша политика.

— Но ведь евреи действительно героически сражались на фронте, и вы понимаете, что у них были все основания ненавидеть нацистов. К тому же звание Героя или боевой орден еврею давали лишь тогда, когда нельзя было не дать, когда весь полк, дивизия, армия, а иногда и фронт знали о том, сколько вражеских самолетов сбил еврей-летчик или сколько танков уничтожил еврей-солдат.

— Это верно. Но мы не позволим евреям лезть в Герои. Мы не позволим печатать даже и правду о них.

-- Но почему?

-- Эх, вы — святой наив. Опять вы не понимаете нашей политики в еврейском вопросе. Мы поощряли и даже сами распускали циркулировавшие во время войны слухи о том, что евреи якобы бежали с фронта и укрывались в глубоком тылу, а в армии околачивались в штабах и интендантствах, что они вообще никудышные солдаты и спекулянты. Вы что же, никогда таких разговоров не слышали?

-- Такие слухи доходили до нас во все военные годы, но мы считали их только порождением исконного антисемитизма царских времен, разогретого нацистской пропагандой.

Комаров рассмеялся: "Эх, вы, ... а я еще считал вас умной женщиной. Это — политика партии и правительства. Всех евреев мы сгноим в тюрьмах и лагерях. Разгромим всю так называемую еврейскую культуру, а всех вас, сионистов, мы уничтожим. Всех!" — "Как же и где вы уничтожите всех, — спросила я, — ведь евреев в СССР около трех миллионов?" Комарова это не смутило: "Так или иначе, уничтожим всех: в тюрьмах, в лагерях, в Биробиджане."

О Биробиджане — автономной еврейской области, которую Сталин подготовил для евреев в глуши сибирской тайги, на границе с Китаем, сейчас уже известно много, и я не буду об этом писать. Но многим ли на Западе известен адский план Сталина и коммунистической партии, по которому именно в Биробиджане должно было быть найдено "окончательное решение" еврейского вопроса в СССР, т.е. физическое истребление всех евреев.

Об этом плане мы узнали уже в Москве после нашего освобождения. Тогда этот план был почти официально известен "всей Москве". О нем говорили совершенно открыто в кругах интеллигенции и в партийной среде, и никто не сомневался в его существовании. Преддверием к осуществлению этого замысла должен был послужить открытый процесс евреев-врачей ("людей в белых халатах"), которые, якобы, замыслили умерщвление своих высокопоставленных пациентов. Процесс этот должен был закончиться публичной казнью убийц и возбудить народное негодование против всех евреев. Вслед за этим

должны были быть спровоцированы погромы и попытки линчевания евреев, и тогда уже "гуманная" советская власть, спасая евреев от справедливого гнева народа, могла бы произвести полную депортацию всех евреев в Биробиджан и истребление их там.

Прецеденты такого геноцида в советской практике уже были. Правда, численность евреев была больше, чем численность крымских татар, немцев Поволжья или чеченцев и других кавказских племен, но эти технические трудности Сталина и его шайку не смущали. Время было мирное, и, значит, ресурсы, которыми они располагали, были побольше.

"Шила в мешке не утаишь" — говорит русская пословица, и всей Москве было известно, что в Биробиджане уже начали срочно строить бараки для депортированных евреев, а на железных дорогах начали готовить товарные вагоны для их перевозки. Не говоря уже о том, что в сибирском климате сколоченный на скорую руку деревянный барак не может служить жильем для человека, даже такие бараки заготавлились только на 200 тысяч человек. В Москве упорно говорили, что когда Сталину доложили об этом и указали ему, что евреев в СССР больше двух миллионов, он ответил: "Тем лучше!".

Действительно, это был план, достойный мудрости "вождя". Без печей, без крови, без шума и огласки!

Я думаю, что такого рода план был намечен еще в 1948 г. и что наш процесс должен был сыграть в нем такую же роль, какая позже

была предназначена процессу "врачей-отравителей". Не знаю, какие соображения заставили тогда Сталина отодвинуть на несколько лет реализацию этого замысла, но не сомневаюсь в том, что только счастливая случайность — смерть Сталина — спасла евреев Советского Союза от поголовного истребления.

Так же четко объяснил мне Комаров политику партии в отношении евреев-ученых и места, занимаемого ими в советской науке. Он отнюдь не отрицал их огромного вклада в развитие советской науки, особенно в области точных наук и биологии. "Мы все знаем, — говорил он, — и, главное, Иосиф Виссарионович знает, что евреи — народ, высоко одаренный научными талантами, особенно в области математики, физики, химии и медицины. Мы знаем, что решающую роль в развитии советской теоретической физики сыграли такие ученые, как Леонид Мандельштам, Лев Ландау, Яков Френкель и их многочисленные ученики. Мы знаем, какую важную роль в развитии экспериментальной физики сыграли работы академиков Абрама Иоффе, Григория Ландсберга и созданных ими школ. И мы не мешаем им работать. Напротив, мы создаем необходимые условия для их работы, потому что они работают на нас и нам это выгодно. Но сейчас, по мере того, как подрастают наци, русские, научные кадры, наш курс будет меняться. Уже сложившимся и хорошо работающим ученым мы и дальше мешать не будем, но мы всячески ограничим приток молодых евреев в университеты и в науку.

Старые умрут или уйдут на пенсию, молодых не будет, и мы постепенно выведем евреев из советской науки. Это процесс долгий, но неизбежный”.

Та политика, которую столь явственно обрисовал мне Комаров, не была его личной выдумкой. Это была, действительно, политика коммунистической партии, которую неуклонно осуществляло советское правительство, как при Сталине, так и при его преемниках — при Хрущеве и в еще большей мере при Брежневе. О том, как далеко зашел этот процесс, говорит такой эпизод.

Во второй половине шестидесятых годов во всех научных и интеллигентских кругах Москвы упорно циркулировал слух о том, что тогдашний президент Академии Наук Мстислав Келдыш был вызван в самые высокие сферы Центрального Комитета партии, где ему прямо был задан вопрос: сколько лет потребуется, чтобы окончательно очистить советскую науку от евреев, не трогая старых высококвалифицированных ученых. Говорили, что Келдыш ”запросил” 25 лет для успешного завершения этой государственной операции. Это и есть тот план, о котором говорил мне Комаров.

Я спросила об этих слухах и их достоверности одного своего старого знакомого, русского человека, знавшего Келдыша очень близко на протяжении многих лет. Имя его я по понятным соображениям назвать не могу. Этот человек ответил мне: ”Не знаю, насколько верны эти слухи, ибо в последнее время я избегал встреч с

Келдышем, но все поведение этого подонка (так он и был назван) таково, что я легко могу этим слухам поверить. Во всяком случае, самый факт, что такие слухи циркулируют и что все им верят, показывает, что политика партии в науке, как и во всех остальных областях жизни, является резко антисемитской. То, что мы видим в жизни на каждом шагу, в частности, при приеме в высшие учебные заведения и подборе кадров в научных учреждениях, не оставляет в этом сомнений. Вместе с тем, эти слухи, даже если бы они были неверны, показывают, как низко пал моральный авторитет Келдыша. Ведь ни о ком из прежних президентов Академии, ни о беспартийных Комарове и Вавилове, ни даже о члене партии Несмеянове, распускать такие слухи было бы невозможно, никто бы не поверил. А о Келдыше верят”.

Действительно, никто не поверил бы таким слухам ни о ком из прежних больших русских ученых. Келдыша же все считали человеком советской выучки, т.е. человеком, лишенным всяких моральных критериев и препон, человеком, способным совершить ради своей карьеры любую низость и подлость, послушным орудием КГБ в науке.

И подумать только, что такому человеку должны были пожимать руку, должны были разговаривать с ним ”на равных” крупнейшие мировые ученые и выдающиеся деятели культуры. Как низко пал ты, свободный мир!

Под конец я хочу рассказать об еще одном преподанном мне Комаровым уроке советского

антисемитизма. На этот раз об уроке, более близком к фарсу, чем к трагедии. Постоянным художником еврейского театра в Москве был талантливый мастер Тышлер, создавший в свое время то замечательное оформление "Короля Лира", о котором я уже упоминала. По своему сценическому мироощущению, по подходу к замыслу спектакля, даже по технике "обыгрывания" актером сценической площадки Тышлер был очень близок к Михоэлсу. Он как бы сросся со школой актерской игры Михоэлса и органически соответствовал его театру.

Естественно, что когда в 1938 г. Михоэлс начал свою первую режиссерскую работу и стал готовить постановку поэтической сказки Галкина "Суламифь", то оформление этого спектакля он хотел поручить Тышлеру. Однако в Советском Союзе режиссер лишен даже такой минимальной творческой свободы, как возможность выбора художника для своего спектакля. Все решается тупыми и невежественными чиновниками из "руководящих органов" — в данном случае из Комитета по делам искусств. Комитет же этот вообще относился очень отрицательно к Тышлеру, художнику, не укладывавшемуся в рамки принятых стандартов. Посему и признано было необходимым поручить оформление "Суламифи" художнику Рындину.

Рындин, несомненно, художник талантливый. Но по всему характеру своего творчества он был совершенно чужд духу театра Михоэлса. Тышлер — художник строгой формы, скупой линии. Рындин же — в первую очередь художник

цвета, создатель яркой цветовой гаммы на сцене. Поручить Рынди́ну оформление спектакля Михоэ́лса могли только люди, чуждые искусству, люди, полностью лишенные понимания театра и того, какой тонкий душевный контакт должен существовать между режиссером и художником. В данном же случае выбор Рынди́на как художника для "Сулами́фи" был особенно нелеп, потому что действие пьесы разворачивалось в пустыне и у колодца. Это требовало скупой и четкой формы и никак не увязывалось с привычной для Рынди́на тягой к ярким цветовым решениям. Неудивительно, что оформление, сделанное по эскизам Рынди́на, оказалось неудачным, и Михоэ́лс был в отчаянии.

Порывшись в досье еврейского театра, Комаров, очевидно, нашел там донесение какого-то агента об этом эпизоде и решил, что его можно использовать как доказательство националистической, антирусской деятельности Михоэ́лса. Поскольку же моей специальностью было театроведение и я была близка к еврейскому театру, Комаров стал требовать от меня показаний, подтверждавших эту концепцию.

Я пыталась объяснить ему, почему Михоэ́лс был так расстроен неудачей оформления этого спектакля, который, как я говорила, был первой его режиссерской работой (раньше он выступал только как актер). Но не это нужно было Комарову, и на следующую ночь я получила для подписи один из тех липовых протоколов, в сочинении которых Комаров был мастером. Конечно, в этом протоколе не было ни единого слова

из того, что я говорила. Вместо этого там было сказано, что Михозлс, исходя из своих сионистских взглядов, всячески мешал русскому художнику Рындину, предъявляя ему немыслимые требования. Делалось это с целью доказать, что только еврей Тышлер может создать подходящее оформление этого спектакля.

И тут меня осенила одна из тех удачных мыслей, которые иногда, к сожалению редко, приходят мне в голову. "А вы уверены в том, что Рындин — русский?", — спросила я. Комаров опешил: "А вы думаете, что он еврей?" — "Не знаю, — ответила я, — с Рындиным я лично не знакома. Но фамилия..." — "Вы думаете, — взволновался Комаров, — что Рындин — еврейская фамилия?" — "Не знаю, но очень уж она созвучна чисто еврейским фамилиям: Гиндин, Миндин... А, ведь, если Рындин окажется евреем, то вы с этим протоколом страшно опозоритесь".

Комаров ничего не ответил, быстро спрятал протокол в стол и больше к нему не возвращался.

Я знаю, что Рындин был главным художником Большого Театра и мужем гениальной русской балерины Галины Улановой, но национальности его я не знаю. Позабыла поинтересоваться этим после нашего освобождения, потому что, в отличие от носителей "самого передового" мировоззрения, я вообще не интересуюсь национальностью деятелей культуры, в частности художников, и не заглядываю в их паспорта.

Финал: приговор

После того, как я и мой муж подписали несколько протоколов, устанавливающих наше "преступное намерение" уехать в государство Израиль, в ходе нашего следствия наступил длительный перерыв, о причинах которого мы догадались позже. Даже в совершенно извращенной сюрреалистической системе советской юстиции трудно осудить человека за намерение уехать в государство, которое еще не существует, по крайней мере, не существует юридически. Нужно было подождать, пока это государство возникнет.

Действительно, юридически государство Израиль возникло 14-го мая 1948 г., а уже в конце этого месяца или в начале июня каждого из нас — в отдельности, конечно, — вызвали для подписания расписки о том, что мы были ознакомлены со всеми материалами следствия. Наличия такой расписки в "деле" требует закон.

Меня вызвали на подписание расписки поздней ночью. Прокурора в комнате, конечно, не было и в помине. Комаров стоял у стола и спешно укладывал в портфель какие-то бумаги. Как я теперь догадываюсь, вероятно, это были так называемые "протоколы" моих допросов. Он торопился и закричал на меня: "Подпишите эту бумагу и не задерживайте меня. Знаете, кто меня вызывает? Догадываетесь, куда я еду?" Я пыталась спросить его, что это за бумага, которую я должна подписать, но он заорал: "А тебе это не все ли равно? Тебе это не поможет. Что, опять в карцер

захотела? Опять захотела все начать сначала?”

И я, сонная, ничего не понимая, подписала бумажку о том, что я была ознакомлена с делом, которого я никогда и в глаза не видела. Формальные требования закона были выполнены, хотя о содержании этой бумажки и о фальсификации большинства протоколов по моему делу я узнала лишь перед нашим освобождением.

Любопытный разговор с Комаровым произошел при подписании этой расписки и у моего мужа. Когда расписка была ему предъявлена для подписи (конечно, тоже без того, чтобы дать ему возможность прочитать ”дело”), то он заявил, что до подписания этой расписки он требует свидания с прокурором, который должен следить за законностью следствия. На это Комаров спокойно ответил ему, что по нашему делу прокурор не положен. ”Но ведь по советским законам я имею право обратиться к прокурору, хотя бы письменно”, — сказал мой муж. — ”Здесь нет советских законов, здесь наши законы” — был циничный ответ Комарова. После такого откровенного заявления что же еще остается делать, как не подписать эту не имеющую никакого значения бумажку, чтобы избавиться себя от дальнейших мук.

Такова была советская законность тогда, но не нужно думать, что многое изменилось после смерти Сталина. И теперь все советское законодательство — ложь и циничное лицемерие. Формальности строго соблюдаются, а по существу приговоры выносятся заранее, и в судах — особенно по делам политическим — царит произвол

и беззаконие. Как не вздохнуть о судебной системе, введенной в России Александром Вторым более ста лет тому назад!

Итак, следствие закончено, и остется лишь ждать приговора. Ни о каком суде или даже просто о встрече с людьми, которые решают вашу судьбу, не было и речи. Даже имен этих людей вы не знаете. Все решает за глаза, на основании материалов следствия, некое анонимное Особое Совещание, пресловутая "тройка".

Через некоторое время после окончания следствия, в один далеко не прекрасный день, вас вызывают, но уже не к следователю, а в какой-то другой кабинет, где неизвестный вам чиновник, не выпуская бумаги из рук, дает вам возможность прочитать приговор, определяющий вашу судьбу. Получить копию этой бумаги на руки осужденный не может. Не дали нам такой копии и после нашего освобождения и реабилитации. Приговор этот непререкаем, как судьба.

Юридическая бессмысленность и незаконность этих приговоров неопишима. В условиях полной бесконтрольности и безответственности "юристы" из МГБ не давали себе труда даже позаботиться о минимальной логичности в формулировании состава преступления и приговора. По делу моего мужа в приговоре, например, было сказано, что он приговаривается по п.п. 1а (измена родине), 10 и 11 (антисоветская агитация и пропаганда) ст.19-58 уголовного кодекса РСФСР к 20 годам тюремного заключения за то, что "он имел *намерение* уехать в государство Израиль (сие и есть измена),

хотя никаких попыток к побегу не предпринимал и никаких знакомств и связей с иностранцами не имел". Я была приговорена по тем же статьям и к тому же сроку тюремного заключения "за антигосударственную деятельность (какую?), солидарность с идеями и намерениями мужа, антисоветскую сионистскую агитацию и пропаганду".

Дочь новгородского протопopa Евгению Аллилуеву и дочь старого ленинградского рабочего-большевика Анну Аллилуеву обвинить в сионистских замыслах никак нельзя было — даже в МГБ. Посему они и были приговорены только за антисоветскую агитацию и пропаганду к меньшим срокам тюрьмы: Евгения — к десяти, а Анна — к пяти годам. Впрочем, в советском законодательстве сроки, записанные в приговорах, никакого значения не имеют. Когда истекли пять лет со дня ее ареста, Анна Аллилуева начала собирать свои вещи, считая, что в этот день ее должны освободить. Однако в этот день в ее камеру вошел некий чиновник и прочитал ей бумагу о том, что постановлением Особого Совещания срок ее заключения продлен еще на пять лет. Любому юристу в цивилизованной стране такое произвольное увеличение срока по уже рассмотренному делу должно показаться чудовищным. Но в советской системе это, по-своему, логично: если можно без суда, за глаза, анонимно осудить человека, то почему собственно та же инстанция не может по своему усмотрению и изменить срок заключения?

После того, как приговор объявлен, вас охватывает сначала отчаяние, а потом какая-то тупая апатия. Все кончено. Жизнь оборвана, и надеяться больше не на что. Остается лишь покорно ждать отправки в срочную тюрьму на невообразимо долгий срок — двадцать лет. Но еще до отправки нас в тюрьму МГБ совершило по отношению к нам последний акт жестокости и беззакония. По закону после вынесения приговора осужденный имеет право на свидание с родными и получение необходимых вещей и кое-каких денег. Но для МГБ эти законы не писаны. Нам не только не дали свидания с родными, но не позволили даже написать им, сообщить о нашей судьбе и получить хоть одно письмо от них. Так мы и уехали и семь лет ничего не знали ни о судьбе нашего шестилетнего сына, которого мы оставили с моей 75-летней матерью, ни о судьбе наших матерей. Они тоже все эти долгие годы не знали ничего о нас, не знали даже, живы ли мы. С того момента, как нас арестовали и до смерти Сталина и ареста Берии мы исчезли для всего мира бесследно, как в воду канули.

Даже вещей получить нам не разрешили и в тюрьму отправили в том, что было на нас в день ареста. Так окончился первый этап нашего семилетнего "хождения по мукам".

* * *

Заканчивая мои печальные воспоминания о так называемом "следствии" в МГБ, я хотела

бы дать понять читателю, что происходит в душе человека, схваченного щупальцами этого спрута и прошедшего через колеса этой бесчеловечной машины.

Первый страшный психологический шок, который переживает, думаю, всякий, втянутый в эту машину, это ощущение полной беспомощности и незащитности. В первые дни вы еще наивно думаете, что вам удастся доказать свою полную невиновность и это спасет вас. Так, я и мой муж думали, что поскольку мы собирались эмигрировать в Израиль лишь легально, тогда и если это будет советским правительством разрешено, то достаточно нам доказать это, и мы немедленно будем освобождены, потому что "нельзя же в самом деле вменить в вину человеку желание использовать предоставленное ему законом право".

Эти иллюзии изживаются очень быстро. Уже через неделю-другую вы понимаете совершенно ясно, что никого здесь вопрос о вашей виновности или невиновности не интересует и что оправдываться совершенно бессмысленно. Это первое страшное потрясение вместе с режимом издевательств и физическими пытками создает у подследственного то состояние отчаяния, полной безнадежности, которое заставляет многих подписывать все, что им подсовывает следователь. Арестованному все становится совершенно безразличным, а это и нужно чекистам.

За этим первым этапом отчаяния у нас настал второй, быть может еще более страшный. Вас охватывает чувство непередаваемого омерзения

по отношению ко всем этим следователям, вертухаям, врачам. Вспомните "1984-й год" Орвелла и самую страшную из описанных там пыток, пытку крысами. То, что произошло с нами, похоже на это. Вы чувствуете себя окруженным не людьми — пусть плохими, но сохранившими еще какой-то человеческий облик, — а какой-то нечистью, чем-то до предела омерзительным и гнусным. Их даже нельзя ненавидеть, к ним испытываешь лишь безграничное презрение.

Это омерзение с особой силой охватывает вас, когда вы, наконец, полностью осознаете, что за всем беззаконием этой чудовищной системы, за всей этой бесчеловечной жестокостью нет никаких идей и идеалов, нет ничего, кроме жадности, корыстолюбия, погони за властью. Во время следствия вы близко видите всех этих полковников и генералов с партийными билетами в карманах и резиновыми дубинками в руках, и вам становится предельно ясно, что ничего у них за душой нет, что им в высокой степени наплевать и на пролетариат и крестьянство, и на "строительство коммунизма", и на "светлое будущее человечества" и даже на "любимую Родину". Эта мразь живет сегодняшним днем и думает об одном: как бы урвать в этот день кусок пожирнее для себя.

В юности нашей и в молодости мы были, как и большинство наших сверстников, в какой-то мере околдованы, лучше сказать, одурманены, идеями социализма и революции. При всем нашем критическом отношении ко многим

сторонам советской политической системы, мы не вполне освободились от этого дурмана и позже. Вплоть до ареста мы оставались совершенно лояльными гражданами СССР. Даже в глубине души мы все еще произносили слово "Революция" с большой буквы, не понимая до конца, каким страшным, катастрофическим несчастьем для всего мира была русская октябрьская революция 1917 г.

В советской следственной тюрьме, когда нам стал предельно ясен моральный и интеллектуальный уровень фактических властителей жизни и смерти каждого советского гражданина, перед нами встал страшный вопрос: для чего же, для каких целей был создан этот аппарат и выращена эта нечисть? Во имя чего были замучены и убиты десятки миллионов людей?

А за ним встает и другой вопрос, еще более страшный: что представляет собой октябрьская революция и что несет миру коммунизм? Каковы были истинные мотивы и побуждения людей, подготовлявших и осуществлявших революцию, начиная с Ленина?

Более глубокое осмысление этих вопросов придет позже, в годы одиночного заключения, когда будет время подумать и почитать. Но перелом, крушение всех основ мировоззрения приходит во время следствия. Вместе с ощущением своей беспомощности это и создает состояние полного безразличия ко всему на свете. В этом, мне кажется, одна из основных причин того, что многие стойкие и крепкие люди, с достоинством державшиеся в царских судах, в

советском следствии сознавались в своих несуществующих преступлениях, каялись, предавали и выдавали своих многолетних друзей и соратников. Люди доходят до такого состояния, когда смерть становится желанным избавлением. Но покончить с собой в советской следственной тюрьме невозможно, а отсюда одно стремление — покончить с этим кошмаром возможно скорее, а там — пусть будет, что будет.

Мы пришли от примитивной советской лояльности через омерзение и презрение к чекистам и тем, кто стоит за ними, к полному отказу от всех идей коммунизма по крестному пути мучений в советских застенках. Этот путь прошли, — с некоторыми индивидуальными различиями, конечно, — и миллионы наших соотечественников. Но боюсь, что по этому же крестному пути придется пройти тем "левым", "прогрессивным" и "либеральным" деятелям на Западе, кто продолжает еще заигрывать с коммунистами и верит — или делает вид, что верит — в возможность "коммунизма с человеческим лицом".

Да минет их чаша сия!

CHALIDZE PUBLICATIONS

505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена -- 7.00

Коран. Перевод Крачковского, карманный формат, цена -- 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена -- 5.00

Николай Евреинов, История телесных наказаний в России, цена -- 15.00

Николай Валентинов, Встречи с Лениным, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Иностранец в России, юридическая памятка, карманный формат, цена -- 6.00

Петр Гарви, Профессиональные союзы в России после революции, цена -- 7.50

В. Буковский. Письма русского путешественника. Цена 12.00

Хельсинкское движение, цена — 7.50

Николай Новиков, Эрнст Неизвестный: искусство и реальность, цена — 10.00

Серан Киркегор, Наслаждение и долг. Репринт, 420 стр., цена — 15.00

З. Авалов, Присоединение Грузии к России, репринт, 320 стр., цена — 15.00

СССР: внутренние противоречия, редактор В. Чалидзе; цена выпуска — 15.00

Зимин, Социализм и неосталинизм, цена — 9.00

Цыганско-русский словарь, репринт, цена — 25.00 (малотиражное издание)

Ответственность поколения, цена — 8.00

Интервью В. Чалидзе с Татьяной Литвиной, Виктором Некрасовым, Владимиром Максимовым, Мстиславом Ростроповичем и другими.

Георгий Федотов. Россия и свобода, цена — 15.00

О. Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире, цена — 12.00

Проблемы Восточной Европы, ред. Франтишек и Лариса Силницкие цена выпуска — 9.00

Л. Копелев. На крутых поворотах короткой дороги. Цена 7.00

Юз Алешковский. Синенький скромный платочек. Скорбная повесть. Цена 7.00

Солженицын в Гарварде. Пер. с английского.
Цена 15.00

И. Яхот. Подавление философии в СССР
(20-30 гг.) Цена 15.00

Б. Рассел. История Западной философии. — 30.00

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.
Цена 15.00

П. Кушников. Армейский дневник 1917 года.
Цена 10.00

Законодательство о религиозных культах
в СССР. Цена 9.00

Р. Орлова. Последний год жизни Герцена. — 6.00

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. — 8.00

З. Фрейд. Толкование сновидений. — 15.00

Грузинская кухня. Цена 6.00

Русскоязычный Нью-Йорк — 1982. Цена 1.00

Александр Дюма. Ожерелье королевы. — 9.00

Добавьте 50 центов за пересылку каждой книги.

Заказы направляйте по адресу:
CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018